Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке http://chernyshevskynikolai.ru/ Приятного чтения!

Антропологический принцип в философии. Николай Гаврилович Чернышевский

I

Если бы брошюра г. Лаврова могла служить только предметом критического разбора, и если бы мы стали читать ее с мыслью написать потом разбор понятий, излагаемых в ней, мы с первых же страниц отказались бы от ее чтения, потому что – скажем откровенно – мы не читали большей части тех многочисленных книг, которые приняты в соображение автором, и даже думаем, что никогда не прочтем их; а без знакомства с ними нельзя с точностью оценить специального достоинства брошюры г. Лаврова. Но она не только прочтена нами, – она даже послужила причиною того, что мы написали довольно длинную статью, имеющую самые тесные отношения к ней.

Исследования г. Лаврова прямо начинаются ссылкою на писателя, из книг которого ни одна не прочтена нами, – цитатою из Жюля Симона, очень известного французского теоретика. Если бы мы не знали, к какому направлению принадлежит этот писатель, довольно бы было нам увидеть две строки, приводимые из него в самом начале брошюры, чтобы лишиться охоты знакомиться с ним: «сочинение, относящееся к политической теории и чуждое текущей политики, есть теперь почти новость», – говорит Жюль Симон, по свидетельству г. Лаврова, в начале своей книги «Свобода». Этого десятка слов, приведенных из него, достаточно, чтобы заметить в их авторе совершенное непонимание того порядка, по которому происходят все дела на свете и, между прочим, пишутся теоретические сочинения. Ныне политические теории создаются под влиянием текущих событий и ученые трактаты служат отголосками исторической борьбы, имеют целью задержать или ускорять ход событий. По мнению Жюля Симона, прежде было не так – иначе он не употребил бы слова «теперь». Этого мало: Жюлю Симону кажется также, что все люди нашей эпохи, а в том числе и ученые, поступают не совсем хорошо, являясь не простыми представителями или последователями абстрактных учений, не имеющими никакого родства с страстями своей страны в свое время, а истолкователями и защитниками стремлений каждый своей партии: если б он не порицал их за это, он не называл бы свою книгу сочинением, «чуждым текущей политики». Наконец он воображает, что может обмануть читателей, или чистосердечно полагает сам, что говорит правду, титулуя свою книгу сочинением «чуждым текущей политики». Под влиянием трех этих воззрений написаны слова, приведенные из Жюля Симона г. Лавровым, и все эти три воззрения ошибочны до такой очевидности, что свидетельствуют или о необыкновенной наивности и недальновидности Жюля Симона, или о совершенном недостатке правдивости в его языке. Мы склоняемся к первому предположению, потому что человек хитрый умеет хитрить, а Жюль Симон говорит несообразности слишком явные, которые могут внушаться только крайнею наивностью.

Политические теории, да и всякие вообще философские учения, создавались всегда под сильнейшим влиянием того общественного положения, к которому принадлежали, и каждый философ бывал представителем какой-нибудь из политических партий, боровшихся в его время за преобладание над обществом, к которому принадлежал философ. Мы не будем говорить о мыслителях, занимавшихся специально политическою стороною жизни. Их принадлежность к политическим партиям слишком заметна для каждого: Гоббз был абсолютист, Локк был виг, Мильтон – республиканец, Монтескье – либерал в английском вкусе, Руссо – революционный демократ, Бентам – просто демократ, революционный или нереволюционный, смотря по надобности; о таких писателях нечего и говорить. Обратимся к тем мыслителям, которые занимались построением теорий более общих, к строителям метафизических систем, к собственно так называемым философам. Кант принадлежал к той партии, которая хотела водворить в Германии свободу революционным путем, но гнушалась террористическими средствами. Фихте пошел несколькими шагами дальше: он не боится и террористических средств. Шеллинг – представитель партии, запуганной революцией), искавшей спокойствия в средневековых учреждениях, желавшей восстановить феодальное государство, разрушенное в Германии Наполеоном I и прусскими патриотами, оратором которых был Фихте, Гегель – умеренный либерал, чрезвычайно консервативный в своих выводах, но принимающий для борьбы против крайней реакции революционные принципы в надежде не допустить до развития революционный дух, служащий ему орудием к ниспровержению слишком ветхой старины. Мы говорим не то одно, чтобы эти люди держались таких убеждений, как частные люди, – это было бы еще не очень важно, но их философские системы насквозь проникнуты духом тех политических партий, к которым принадлежали авторы систем. Говорить, будто бы не было и прежде всего того же, что теперь, говорить, будто бы только теперь философы стали писать свои системы под влиянием политических

убеждений, — это чрезвычайная наивность, а еще наивнее выражать такую мысль о тех мыслителях, которые занимались в особенности политическим отделом философской науки.

Но пусть себе будут похожи или непохожи на прежних мыслителей нынешние мыслители тем, что служат представителями политических партий; как бы там ни было в старину, а теперь мы видим, что каждый человек с развитою головою очень сильно интересуется политическими событиями: газету читают даже те люди, которые не в состоянии читать книг сколько-нибудь серьезных: чем же виноваты мыслители нашей эпохи, когда не отстают в умственном развитии от офицеров и чиновников, помещиков и фабрикантов, лавочных сидельцев и мастеровых? Разве мыслителю необходимо быть тупоумнее и слепее каждого грамотного человека? Всякий, достигший какой-нибудь умственной самостоятельности, имеет политические убеждения, судит обо всем по соображению с ними, — чем же виноват философ или политический теоретик, когда его образ мыслей не лишен смысла, какой есть в образе мыслей каждого из людей, просвещать которых он берется? Неужели учитель должен быть невежественнее ученика? Неужели человек, пишущий о предмете, должен интересоваться им меньше, чем интересуются люди, не принимающие на себя претензии печатать теорию этого предмета? Нужна баранья наивность, чтобы порицать ученого за то, что он не глупее и не тупее неученых людей.

Но забавнее всего простодушие, с каким Жюль Симон хочет убедить публику или успел убедить даже самого себя, будто бы его книга чужда текущей политики. Мы слыхивали о характере теоретических книг, писанных Жюлем Симоном в разные годы. При июльской монархии его доктрина отличалась умеренным духом свободы и снисходительными полуодобрениями, полупорицаниями людям действительно прогрессивным. Во время республики элемент свободы припрятался у него под ожесточенною реакцией) против решительных прогрессистов, которые тогда едва не захватили власть в свои руки. Когда упрочилась империя и решительные прогрессисты стали казаться бессильными, а реакция совершенно восторжествовала, Жюль Симон стал писать в духе очень яростного свободолюбия. Из этого мы видим, что его теории отражали на себе не просто только убеждения его партии, а подчинялись даже каждому кратковременному состоянию чувства этой партии. Если б мы и не читали об этом факте, мы наверное могли бы знать, что дело происходило таким образом: для нас довольно было бы знать, что Жюль Симон пользуется во Франции некоторою репутациею и, следовательно, не совершенно лишен ума: умный человек не может не замечать событий, происходящих около него, не принимать их в соображение, — стало быть, и его система не может не отражать на себе хода событий. Это понимает всякий, кроме немногих, слишком наивных людей. Г. Лавров прямо замечает, что цитуемый им автор не сдержал своего несбыточного обещания. А если так, к чему было Жюлю Симону взводить на себя неправдоподобную небылицу уверением в изолированности своей системы от влияния текущей политики?

Человек, который говорит такие наивные несообразности, может быть добродетельным семьянином, хорошим гражданином, приятным болтуном; но мыслителем он быть не может, потому что у него в голове нет логики. Если он сделается писателем, его произведения могут иметь достоинства беллетристические, археологические и всякие другие, но не могут иметь ровно никакого философского значения. Поэтому мы лишаем себя всякой надежды прочесть философские сочинения Жюля Симона. Если бы мы захотели фельетонных достоинств, мы прямо стали бы читать фельетоны г-жи Эмиль Жирарден, Луи-Дюнойе, Теофиля Готье; если бы мы захотели наслаждаться поэзиею, мы стали бы читать романы Жоржа Санда, песни Беранже; если бы, наконец, мы захотели просто читать пустую болтовню, мы взялись бы за романы Александра Дюма-старшего или, пожалуй, младшего, или даже маркиза Фудраса; но какая охота была бы нам читать философские книги Жюля Симона, в которых может быть много приятной болтовни, фельетонной соли или даже поэзии, но которые все-таки по самому своему предмету далеко отстают этими достоинствами от порядочных фельетонов, хороших и даже плохих романов, а не имеют того достоинства, из-за которого становится интересным философское сочинение, — не имеют логики?

Точно так же мы не думаем, чтобы нам удалось прочесть сочинения нынешнего Шихте, о котором известно нам то, что о нем всегда выражаются: «сын знаменитого Фихте». Такая рекомендация напоминает нам анекдот, случившийся в Петербурге лет пять или шесть тому назад встретились где-то на вечере два незнакомые господина и, потолковав между собой, почувствовали желание познакомиться. «С кем я имею удовольствие говорить?» — спросил один из них. Другой назвал свою фамилию и в свою очередь спросил: «а с кем я имею удовольствие говорить?» — «Я муж г-жи Тедеско», отвечал его собеседник. Мы никогда не имели охоты слушать пение мужа г-жи Тедеско.

По тем же самым основаниям, которые отнимают у нас возможность познакомиться с сочинениями Жюля Симона и Фихте-сына, мы не читали и не прочтем философских

произведений Шопенгауэра и Фрауэнштета. Они, по всей вероятности, прекрасные люди, но в философии они то же самое, что в поэзии г-жа К. Павлова, одно из произведений которой, «Разговор в Кремле», также цитуется г. Лавровым.

По недостатку знакомства с многими из источников, которыми пользовался г. Лавров, мы, конечно, не можем в точности оценить достоинство его произведения. Мы можем предполагать только одно: если бы он не имел большего философского дарования, чем Жюль Симон, Фихте-сын, то в его брошюре был бы тот же самый вовсе не философский дух, какой находится в их произведениях, и его «теория личности» была бы так же плоха, как их теории. Но его брошюра должна быть положительно признана хорошею. Из этого надобно заключать, что г. Лавров заметил многие ошибки тех посредственных философов, которых изучал, что он умел понять многие вещи гораздо лучше, нежели они, словом сказать, что недостатки его брошюры произошли из других книг, каковы книги Жюля Симона и Фихте-сына, а достоинствами своими брошюра обязана в очень значительной степени самому автору. Мы думаем, что это предположение верно, и потому желаем, чтобы г. Лавров продолжал писать статьи о философии.

Точно так же в большую заслугу ему надобно вменить и то, что он изучает философию не по одним мыслителям такого разряда, как Шопенгауэр и Жюль Симон. В нашем обществе, которое так мало знакомо с истинно великими нынешними мыслителями Западной Европы, которое считает лучшими руководствами к изучению философии или произведения людей нынешнего поколения, далеко отставших от современного развития мысли, или творения мыслителей великих, но уже слишком давних и переставших быть удовлетворительными при нынешнем развитии наук и общественных отношений, — в нашем обществе за великую заслугу надобно считать то, когда человек, кроме плохих или обветшалых руководств, рекомендуемых ему всеми встречными и особенно всеми специалистами, сам доискивается до лучших руководств, умеет найти их, умеет понять их. Г. Лавров большую часть пути ведет своих читателей по прямой и хорошей дороге вперед: это делает ему большую честь, потому что никто в нашем обществе не показывал ему этой дороги, а, вероятно, все, когда-нибудь служившие ему советниками, толкали его на разные кривые тропинки, ведущие по болоту и большею частию назад, а не вперед.

Мы высоко ценим обе эти заслуги: и ту, что г. Лавров имел силу додуматься до результатов гораздо лучших того, что давали ему какие-нибудь Фихте-сыновья и Жюли Симоны; и ту заслугу, что он умел найти для своих философских исследований руководства, гораздо лучшие посредственных и отсталых книг. Но соединение прекрасных мыслей, заимствованных из действительно великих и современных мыслителей или внушенных собственным умом, с понятиями или не совсем современными, или принадлежащими не тому образу мыслей, какого в сущности держится г. Лавров, или, наконец, принадлежащими особенному положению мыслителя среди публики, не похожей на нашу, и потому получающими неверный колорит при повторении у нас, — это соединение собственных достоинств с чужими недостатками, придает, если мы не ошибаемся, системе г. Лаврова характер эклектизма, который производит неудовлетворительное впечатление на читателя, знакомого с требованиями философского мышления. В брошюре г. Лаврова встречаются мысли, которые едва ли совместны между собою. Мы приведем один пример тому.

Г. Лавров — мыслитель прогрессивный, в этом нет никакого сомнения. По всему видно, что он проникнут искренним желанием содействовать своему обществу в приобретении тех нравственных и общежительных благ, которых мы до сих пор лишены по своему невежеству, мешающему нам сознать цели для своих стремлений и понять средства, необходимые для достижения этих целей. Между тем на первой же странице книжки мы встречаем фразу «общественный деспотизм Соединенных Штатов», и к этой фразе прибавлена для подтверждения цитата из книги Милля «On liberty» : «Утверждают, что в Соединенных Штатах чувствования большинства, которому неприятно обнаружение более заметного или более богатого образа жизни, чем образ жизни, доступный этому большинству, действуют как довольно действительный закон против роскоши, и во многих местах Союза для лица, имеющего значительный доход, действительно трудно найти средства его тратить, не навлекая на себя народного неудовольствия». Миллю хорошо говорить это: английская публика знает, как понимать его слова, а наша публика подумает бог знает что, услышав их без объяснений. Г. Лавров приводит отрывок из Милля не для какой-нибудь важной цели, а просто для того, чтобы увеличить четырьмя словами «общественный деспотизм Соединенных Штатов» длинный список разных политических или общественных форм, пережитых или переживаемых западным человечеством. Для такой неважной надобности, как представление 27 указаний вместо 26, не стоило затрогивать факта, требующего слишком длинных рассуждений. Напрасно г. Лавров привел его; но еще хуже, по нашему мнению, вышло оттого, что он, указав на факт, не сказал нашей публике о его смысле. Мы должны дополнить этот недостаток. Во-первых,

факт, называемый у г. Лаврова общественным деспотизмом, существует не во всех Соединенных Штатах, а почти исключительно в одной части их, в так называемых штатах Новой Англии и главным образом в городе Бостоне. Во-вторых, этот факт, вовсе, как видим, не повсеместный, составляет не последствие северо-американских учреждений, как думают поверхностные наблюдатели, а просто остаток пуританства, ослабевающий с каждым годом; известно, что штаты Новой Англии были основаны пуританами, которые считали роскошь грехом. В-третьих, даже и между потомками пуритан стеснение существует вовсе не в такой значительной степени, как полагают доверчивые люди, принимающие за чистую монету слова богатых скряг: скряги везде ищут предлога для извинения своей чрезмерной скупости; обыкновенно они жалуются на свое безденежье, на тяжелые времена, а в штатах Новой Англии приискали еще новый предлог — мнимую стеснительность какого-то поверья, почти уже переставшего существовать.

Если уже говорить об общественном деспотизме в Северной Америке, то следовало бы указать не на эту ничтожную черту отживающей старины, а на другое явление, которым производятся теперь такие сильные смуты в Соединенных Штатах: в той части их, которая сохранила невольничество, общественное мнение, находясь под владычеством плантаторов, не допускает ни одного слова, похожего на аболиционизм; люди, говорящие против невольничества, подвергаются грабежу, изгнанию и уголовным наказаниям. Но довольно сказать, что в этой половине Союза, в южных или невольнических штатах, господствует аристократия: вся власть фактически принадлежит нескольким десяткам тысяч богатых плантаторов, которые держат в невежестве и нищете не только своих негров, но и массу белого населения этих штатов. Известно, что вся земля в Виргинии и других старинных невольничьих штатах принадлежит потомкам старинных вельмож, получивших ее по пожалованью при Стюартах. Они постепенно расширяли свои владения и на те страны, в которых основаны новые невольничьи штаты; они держат шайки бандитов, подобных знаменитому Уокеру. Вообще, разница между Неаполем и Швейцарией) не так велика, как разница между южною и северною половинами Соединенных Штатов. Северные (свободные) штаты только в последнее время стали сознавать, что до сих пор сохраняли над Союзом преобладание аристократы южных (невольник чьих) штатов, и коренной смысл нынешней борьбы между аболиционистами и плантаторами заключается в том, что демократия, господствующая в северных штатах, хочет вырвать политическую власть над Союзом из рук аристократов-плантаторов .

Западная Европа очень богата политическими опытами, политическими теориями, говорит г. Лавров, но к чему же она пришла, так дорого заплатив за опыты, употребив так много умственных сил на оценку их? Она пришла только к чувству неудовлетворенности своим настоящим, к страху за свое будущее: «Везде критика и критика; надежды, недавно кипевшие с такою силою, ослабели; будущее страшно для всех». Этот вывод г. Лавров подтверждает выписками из Жюля Симона, Милля и из автора книги «De la justice» . О мнениях Жюля Симона мы не станем говорить, но обратим внимание на взгляды двух других писателей, цитируемых г. Лавровым, потому что они люди действительно очень умные и совершенно честные.

Милля мы очень уважаем; он один из самых сильных мыслителей нынешней эпохи и сильнейший мыслитель между экономистами, которые остались верны учению Смита. Впрочем, последняя рекомендация сама по себе еще не могла бы служить меркою ума, потому что других сколько-нибудь сильных в логике людей это экономическое направление решительно не имеет. Но, говоря не по сравнению с другими экономистами смитовской школы, с которыми неприлично сравнивать людей большого ума, а по сравнению вообще с учеными людьми по всем наукам, Милля можно назвать принадлежащим к разряду тех второстепенных, но все-таки очень замечательных мыслителей, силу мысли которых мы яснее всего определим, если скажем, что она так же велика, как, например, сила поэтического таланта у лучших из нынешних наших беллетристов. Г. Писемский, например, вовсе не Гоголь, но все-таки его талант далеко не дюжинный. Точно так и Миллю далеко до таких людей, как Адам Смит или Гегель, или Лавуазье — до людей, вводивших в науку новые основные идеи; но довольно самостоятельно развивать идеи, уже получившие господство, пройти несколько шагов вперед по направлению, уже указанному другими, это дело таких людей, как Милль. Они заслуживают большого уважения. Посмотрим же, что говорит Милль и почему он так говорит. Его можно характеризовать одним недавним делом. Читателю известно, что в Англии стоит теперь на очереди вопрос о понижении избирательного ценза. Самые отсталые консерваторы согласны, что это — дело неизбежное. Они всячески стараются затянуть его, стараются уменьшить размер его, говорят о рискованности больших перемен, об опасностях, угрожающих конституции; но сознаются, что какую-нибудь уступку надобно сделать. В начале прошлого года, когда умы, еще мало развлеченные внешними делами, были сильно заняты понижением ценза, Милль издал брошюру и напечатал письмо, в которых объяснял, что прежде, нежели давать права людям какого-нибудь сословия, надобно сделать точные ученые

исследования об умственных, нравственных и политических качествах людей этого сословия. Мы не знаем, говорил он, каковы политические убеждения разных разрядов работников, мелких лавочников и других людей, не пользующихся теперь политическими правами: кого они будут выбирать своими представителями, на какой путь повлекут их представители палаты общин? Но главным предметом его замечаний был вопрос о замене открытой подачи голосов на выборах тайною баллотировкою. Консерваторы говорят, что открытая подача голосов развивает в человеке гражданскую доблесть, прямодушие и всевозможные другие добродетели, а тайная баллотировка нужна только трусам, которые лучше пусть и не участвуют в общественных делах, пока не приучатся быть доблестными гражданами, или людям двоедушным, которые на словах будут обещать свой голос одному кандидату, а подадут голос за другого. Все прогрессисты, напротив, требуют тайной баллотировки, говоря, что только ею ограждается независимость избирателя. Милль, хотя сам большой прогрессист в теории, не побоялся высказать, что не разделяет в этом случае мнения своих политических друзей. Это делает ему, как человеку, тем больше чести, что прежде он думал иначе и теперь с откровенным благородством прямо говорит, что принужден отказаться от своего прежнего мнения, как неосновательного. Значила ли эта брошюра, восхитившая собою всех консерваторов, что Милль перестал быть прогрессистом? Нет, в теории он по-прежнему защищает предоставление избирательного голоса всем взрослым людям; он идет тут гораздо далее самих хартистов, доказывая, что голос на выборах должен быть дан и женщинам, тогда как даже хартисты говорят только о мужчинах. Но дело в том, что к живому вопросу Милль приступает с идеальным желанием повести его путем действительно наилучшим, по научному взгляду: прежде чем сделать перемену, конечно, надобно собрать самые лучшие и полные данные о качествах предмета, к которому относится перемена, чтобы с математическою точностью можно было предсказать ее результаты. Так и делают, например, в таможенных реформах: высчитают до последней копейки, насколько уменьшится в первый год таможенный сбор от понижения пошлины, с какою быстротою начнет он потом возрастать, во сколько лет и до какой цифры возвысится. Милль хотел бы, чтобы и парламентская реформа была произведена таким же разумным и осмотрительным порядком. Не собрано статистических данных о том, какое число людей честных и вовсе не трусливых поставлены своими житейскими обстоятельствами в такую зависимость, что при открытой подаче голосов принуждены или вовсе не являться на выборы, или подавать голос не за того кандидата, которого предпочитают в душе. Сведений этих не собрано, потому и Милль после многолетнего обдумывания решил наконец, что нет достаточных оснований предпочесть тайную баллотировку открытой подаче голосов. А если бы собрать доказательства, достаточные для возведения наклонности прогрессистов к тайной баллотировке в научную истину, Милль был бы очень рад разделять желания своих политических друзей. Словом сказать, он в своей брошюре явился человеком очень честным и таким же прогрессистом, как прежде, только выставил непрактичные требования. От чего же эта непрактичность? Просто от слишком сильного желания, чтобы развитие общественной жизни шло путем совершенно рассудительным. На деле этого не бывает в важных вещах ни в жизни отдельного человека, ни в народной жизни. Совершенно хладнокровно, спокойно, обдуманно, рассудительно делаются только вещи не слишком важные. Посмотрите на человека, с какой обдуманностью, как умно выбирает он, какую девицу ангажировать на кадриль или мазурку: как зорко оценивает он и красоту, и нарядность, и приятность в разговоре, и ловкость в танцах избираемой им дамы, прежде чем подойдет к ней с предложением. Но ведь это потому, что дело тут неважное для него. Так ли он поступит при выборе невесты? Дело известное, что почти все порядочные люди становятся женихами, сами не зная, как это случилось: кровь разгорячена, сорвалось с языка слово — и кончено. Правда, и при выборе невесты поступают обдуманно, благоразумно очень многие; но ведь это бывает лишь в тех случаях, когда женитьба представляется решающемуся на нее делом простого комфорта, то есть разве немногим поважнее, чем приискивание удобной квартиры или хорошего повара. Даже из людей, женящихся просто с корыстными целями, слишком часто делают нерассудительный выбор те, у которых желание обогатиться доходит до страсти. Где замешана страсть, там обдуманность й хладнокровие невозможны: это истина, известная по прописям. Каждый важный общественный вопрос возбуждает страсти — это дело также известное. Если реформа касается только небольшой части общества или, затрогивая интересы всех, представляет для каждого риск лишь незначительного убытка или выигрыша, словом сказать, если реформа не очень важна, она может производиться хладнокровным путем. Так, например, понижение пошлины на чай или сахар произведено было в Англии очень спокойно и рационально: кому охота была волноваться из-за того, что уменьшится несколькими пенсами цена фунта чая или несколькими шиллингами цена центнера сахара? Каждому было приятно получить через это возможность сберечь десятка полтора или два шиллингов в год;

но кому надобность горячиться из-за такой мелочи? Убытка не приносила реформа никому. Но большой убыток приносила английским судохозяевам другая реформа, также очень полезная: отмена навигационного акта, по которому английские суда пользовались в английских гаванях таможенными преимуществами перед иностранными. Сословие судохозяев доходило до ярости в то время и до сих пор кипит злостью, с неистовством требует, чтобы восстановили навигационный акт. Зато это сословие составляет лишь ничтожную часть в торговом классе, который за исключением судохозяев, весь выигрывал через реформу. Люди раздраженные были бессильны, и потому дело велось обществом очень холодно. Но так ли были отменены хлебные законы, когда теряли привилегию люди сильные в английском обществе? Читатель знает, что людям, хотевшим этого полезного дела, только тогда удалось побороть могущественную оппозицию, когда разыгрались страсти в большинстве общества, много выигрывавшего от важной реформ мы; а когда общество взволновалось страстью, холодное ведение дела невозможно. Разве у Роберта Пиля достало времени на многолетние статистические изыскания, когда подошла неизбежность перемены? Нет, какие сведения были, теми и воспользовались, медлить было нельзя. А ведь, это не совсем рационально: почему знать, если бы глубже вникнуть в дело, быть может, некоторые подробности закона обработались бы лучше? Быть- может, представилась бы возможность вполне достичь цели, не, повредив выгодам многих противников реформы, действительно подвергнувшихся через нее убытку? Конечно, так, но очень важные для общества дела никогда так не делались. Посмотрите, каким путем уничтожался феодализм или обращалась в ничтожество инквизиция, или получались права средним сословием, вообще уничтожалось какое-нибудь важное зло или вводилось какое-нибудь важное благо. Милль очень хорошо понимает это как научную истину, как общий принцип исторического развития; но когда пришлось видеть на опыте приложение этого принципа, он смутился и стал говорить бог знает что. Отчего же смущение перед фактом у человека, ясно понимающего и отважно допускающего принцип, из которого родился этот факт? Просто от разницы впечатления, производимого отвлеченной мыслью и фактом, действующим на чувства. Осязаемый предмет действует гораздо сильнее отвлеченного понятия о нем. Человек, хладнокровно рассуждающий о том, что он сделает в данном случае, редко имеет силу сохранить все спокойное присутствие духа при действительном появлении этого случая, если он сколько-нибудь действительно важен. Когда он приятен, при первых признаках его появления нами овладевает радостное волнение; когда он неприятен — тяжелый трепет, и ощущения эти возбуждаются так легко, что очень часто производятся даже простым обманом чувств; действительных признаков еще нет, но мы уже радуемся или тоскуем по наклонности отыскивать во всем следы занимающего нас предмета, принимая за признаки приближающегося факта такие явления, которые на самом деле нимало не относятся к нему. Оттого-то каждая политическая партия постоянно видит приближение своего идеала, истолковывая каждая по-своему одни и те же явления, как признаки совершенно противоположных одна другой перемен. Как бы то ни было, основательно или неосновательно бывает ожидание великих перемен, с радостью или тоскою ждут их заинтересованные люди, но дело в том, что их суждение, справедливое или несправедливое, никак не может быть хладнокровно. Мы видели, с какими чувствами принял Милль фактические признаки приближения парламентской реформы, необходимость которой он сам признает в теории. Отвлеченным образом он желает ее, но факт навел на него некоторую робость. Это значит, что в сущности лично для него перемена неприятна, что у него достало нравственного мужества побороть эту неприятность в теории, но недостало силы победить более сильное впечатление, производимое фактом. Теперь мы можем обратиться к тому общему суждению о положении дел в Западной Европе, которое берет из Милля г. Лавров. Вот слова Милля: «Современное направление общественного мнения представляет то же самое в неорганизованном виде, что мы видим организованным в китайской политической и педагогической системе; и если личности не будут способны успешно восстать против этого ярма, то в Европе, несмотря на ее благородное прошедшее и на исповедуемое ею христианство, разовьется второй Китай». У нас многие с большим удовольствием схватились за эти слова, принимая их за чистую монету; другие сильно огорчились от них. Западная Европа идет к состоянию китаизма, она уже не в силах выработать новых форм жизни, она будет только заканчивать систематическую постройку прежних форм, уже оказывающихся неудовлетворительными; потребности настоящего, несовместные с ними, будут подавлены преданием, и на всем Западе водворяется однообразная методичность насильственной рутины, какую мы видим в Китае. Так говорят некоторые даже из самых лучших наших людей и указывают на грустный приговор Милля, как на подтверждение очень сильное. Но легко вообразить, какого доверия заслуживают в подобных вещах впечатления человека, смутившегося даже такою частною переменою, как парламентская реформа, и притом переменою, являющеюся в таком умеренном объеме, какой принадлежит требованиям даже радикальной партии

парламента в лице ее представителя Брайта, который притом лишен надежды достичь осуществления даже своих предложений в самом смягченном и ослабленном их виде. Если Милль смутился от парламентской реформы, то можно ли ожидать, чтобы он хладнокровно рассудил о признаках перемены, которая стремится обнять всю общественную и частную жизнь Западной Европы, изменить все учреждения и нравы, начиная с государственных форм и кончая семейными отношениями и экономическими постановлениями? Что мудреного, если от признаков такой громадной перемены затмится холодная ясность суждения у человека, который может без особенного трепета анализировать отвлеченные понятия, но которому лично неприятны факты, соответствующие этим понятиям? В приведенных г. Лавровым словах Милля мы видим не анализ сущности дела, а только впечатление, производимое этим делом на человека, имеющего благородный образ мыслей, но по своим личным обстоятельствам принадлежащего к сословиям, ожидающим себе потерь от перемены, выгодной для всего общества. Когда он говорит: Западная Европа находится в кризисе, исход которого сомнителен; отвратить этот кризис, остановить развитие вещей, вернуться к прошлому невозможно; но неизвестно, чем кончится кризис: приведет ли он Западную Европу к развитию более высоких форм жизни или к китаизму, к деспотизму под формою свободы, к застою под формою прогресса, к варварству под формою цивилизации, – когда он говорит это, нам припоминаются чувства и слова честной части английских лендлордов во время отмены хлебных законов. Те лендлорды, которые имели благородный образ мыслей, также говорили тогда: да, мы видим, что отменить хлебные законы необходимо; всякое сопротивление остается напрасно и может только увеличить размер окончательной победы Кобдена с его товарищами, но к чему приведет эта неизбежная перемена? Не убьет ли она английское земледелие? Не разорит ли она наше сословие? – это бы еще ничего: свою беду мы перенесли бы безропотно, – но не разорит ли она и фермеров, не пустит ли ПО миру голодными и миллионы деревенских рабочих, пашущих поля для наших фермеров? Эти люди говорили добросовестно; однако же факт показал неосновательность их Мрачных сомнений, и постороннему зрителю с самого начала было видно, что подобные опасения за будущность внушались этим людям только невыгодностью перемены для сословия, к которому они принадлежали. Точно таково же происхождение боязни Милля за будущность Западной Европы: его сомнение о предстоящей судьбе цивилизованных стран не больше, как возведенное личным чувством в общую формулу предчувствие того, что дальнейшее развитие цивилизации будет уменьшать привилегии, присвоенные сословием, к которому сам он принадлежит. Постороннему человеку очень заметна неосновательность- Силлогизма, обращающего в Опасность для всего общества потерю привилегий.

В Милле мы видим представителя чувств, с которыми благородные люди богатых сословий Западной Европы встречают предстоящую перемену общественных отношений. Не менее любопытен характер воззрений другого мыслителя, служащего представителем умственного положения простолюдинов Западной Европы. Автор книги «De la justice» был сын деревенского бочара, – не какого-нибудь хозяина большой мастерской, – нет, простого деревенского мужика, который сам и один, без всяких наемных работников, набивал обручи на мужицкие бочки и жил так же бедно, как все мужики той деревни. В детстве своем мыслитель отчасти служил пастухом, отчасти помогал отцу набивать обручи. Некоторые добрые люди зажиточного сословия, заметив ум мальчика, помогли отцу отдать его в безансонскую гимназию. Но Книг покупать ученику было не на что, и он учил уроки уже в классной комнате, в немногие минуты перед начатием класса, по книгам своих товарищей. Бедность семейства скоро заставила его бросить гимназию, чтобы снова стать работником; на 19-м году удалось ему поступить в одну из безансонских типографий наборщиком; через несколько лет сделался он корректором, а потом достиг должности фактора. Так прошло целых 15 лет; молодой наборщик читал книги, думал, пробовал сам писать кое-что, и за одно из своих сочинений получил трехлетнюю стипендию в 1 500 франков от безансонской академии (общества любителей словесности). Это помогло ему в занятиях. Он продолжал писать, оставаясь типографским работником; но безансонская академия уже отвергала его новые труды, заметив, какой неблагонамеренный характер обнаруживается в образе мыслей ее стипендиата, который сначала представился ей человеком самых консервативных понятий. Между тем автор, оказавшийся очень дельным человеком по управлению коммерческими делами, приискал себе место комиссионера, (управляющего) в конторе водяной и сухопутной транспортировки братьев Готье в Лионе. В этой конторе служил он до самого 1848 года, который доставил ему возможность жить уже одними литературными трудами. Управляя конторой Готье, он был дельцом очень распорядительным и практичным, так что привел в цветущее положение фирму, в которой служил.

Эта внешняя, сторона жизни автора книги «De la justice» служит верным отражением общих отношений западного простонародья в его трудовой жизни.

Простонародье должно выбиваться из самого жалкого положения; благосостоятельным классам сначала бывает жалко видеть людей, умных, честных, трудолюбивых находящимися в безвыходной бедности и в унижении; сильные мира помогают по чистому человеческому чувству своим менее счастливым братьям; благодаря сострадательной заботливости зажиточных людей, сын бедного мастерового, пастух и ученик бочара поступает в школу, выводится на дорогу, по которой и придет к почету и выйдет Из бедности. Но помощь эта, при всей своей похвальности, недостаточна, заботливость эта, при всей своей гуманности, не довольно внимательна: мальчик, прежде чем обратился в юношу, уже остается без хлеба, должен бросить путь к хорошему положению в обществе, чтобы кормить себя и свою семью черной работой. Много гибнет тут сил и времени в неблагодарном труде поденщика, живущего со дня на день, работающего 14 часов в сутки, чтобы иметь неверную и скудную пищу. Но природные дарования велики у него; он еще ничему не выучился, зато узнал, по крайней мере, что спасение может быть дано ему только наукой: он уже не отстанет от умственного труда, как бы ни стесняли его обстоятельства. Притом же он хочет знать правду. Кроме материальной потребности знания, в нем уже развита любознательность. И вот, урывая время от сна, отказывая себе во всяком развлечении, даже в отдыхе, он посвящает час или полчаса позднего вечера чтению, как бы ни чрезмерна была черная работа, занимавшая его целый день. Таким образом учится он много; а мыслит он еще больше: голова его думает над общечеловеческими вопросами и над вопросами о положении целого его сословия, пока руки его исполняют черную работу. Тяжел и длинен этот путь: пятнадцать лет нужно ему на то, чтобы приобрести сведения, которые при лучших условиях приобрел бы он в два-три года. Зато было у него время глубоко обдумывать все, что узнает он, и мысль его получила великую проницательность. Вот он знает уже все, что знают ученые люди, а судит он яснее их; он может сообщить им нечто достойное их внимания: в его мыслях есть нечто новое, потому что порождены они жизнью, какой не испытывают классы, имеющие ученых людей. На первый раз это новое так же нравится ученым порядочного общества, как нравилась прежде даровитость деревенского мальчика: они одобряют труженика; он продолжает свой умственный труд, развивает свои мысли; но тут догадываются, наконец, его покровители, что есть какая-то вредная сторона в его мыслях, показавшихся сначала такими невинными. Прежнее довольно гордое участие к нему заменяется в них подозрительностью, она усиливается, подтверждается, переходит в положительную нелюбовь, потом в ненависть к нему за его вредный образ мыслей, за его гибельные стремления; он отвергнут всеми, кто имеет хорошее положение в обществе, подвергается гонениям; но уже поздно: он уже не нуждается в покровительстве, он уже сильнее преследователей, он знаменит, и вое его трепещут, потому что он сокрушает каждого, на коте принужден поднять руку. Эта биография отдельного человека — история сословия, к которому он принадлежит.

Этот человек интересен, как полный представитель умственного положения, до которого возвышается на Западе простолюдин. Переходя к его теориям, мы также найдем, что история его развития отразилась в них всеми своими сторонами и в том числе своими недостатками. Он — самоучка; по каким книгам он учился? Знал ли он, какие книги выбирать, знал ли он, на какие учения обращать внимание, как на учения действительно современные? Нет, он учился по книгам, какие попадались ему в руки, а чаще всего попадаются книги, написанные в духе теорий, уже получивших господство в обществе, то есть теорий уже довольно старых, и значительно устаревших. Такова судьба всякого самоучки. Если кто-нибудь из нас, не учившихся, например, химии, вздумает заняться этой наукой и не будет вовремя иметь хороших руководителей, он наверное возьмется или за школьные руководства, служащие вместилищем всякого хлама, или за книги химических знаменитостей, слава которых уже распространилась в обществе: за Либиха, может быть даже за старика Берцелиуса; а люди, знакомые с химиею в нынешнем ее виде, говорят, что понятия не только Берцелиуса, но Либиха уже устарели, уже не годятся в руководство человеку, который хотел бы узнать химию в нынешнем ее виде; что науку эту надобно теперь изучать по другим писателям, а книги Либиха могут служить с пользою только уже для справок, только уже человеку, усвоившему себе другой взгляд на дело.

Г. Лавров занят философскою стороною системы автора книги «De la justice», и мы обратим внимание здесь также на эту сторону, хотя для экономической науки его сочинения гораздо важнее, чем для философии. Автор книги «De la justice» далеко превосходит всех своих французских соперников тем, что знаком с немецкою философиею. Ни о каком другом французском философе нельзя сказать, чтобы он владел этим знанием. Говорят, будто бы Кузен изучал Шеллинга и Гегеля; но они оба находили, что он решительно не понимает духа их учений, под именем их систем воображает себе какую-то нелепицу, составившуюся в его голове из смеси непонятных немецких выражений с принципами, противоречащими не только немецкой

философии, но и духу всякого научного исследования. Следовавшие за Кузеном французские знаменитости по части философии точно так же, как он, оставались чужды духу великих немецких мыслителей или даже и вовсе незнакомы с ними. Об авторе книги «De la justice» надобно сказать не то: он глубоко проникнут принципами немецкой философии. Мы читали, будто бы он не знает по-немецки; если это правда, то все еще ничего не значит. Белинский также не знал по-немецки, а между тем знал немецкую философию так, что не наберется в самой Германии десяти человек, понимающих ее столь же глубоко и ясно. Мы слышали, что главный источник знакомства с этою наукою у автора книги «De la justice» и у Белинского был одинаков: разговоры с людьми, занимавшимися немецкою философиею; говорят, что даже эти люди были одни и те же. Можно полагать, что такие известия справедливы. Но как бы то ни было, Прудон проникся духом немецкой философии. Это составляет одну из сильнейших его сторон. Надобно прибавить, что одна из причин неудовлетворительности или, по крайней мере, неясности его понятий также заключается в этом знакомстве, именно в том обстоятельстве, что он узнал немецкую философию под формою системы Гегеля и остановился на этой форме, как на окончательном выводе, между тем как в Германии наука развивалась дальше. Система Гегеля, проникнутая духом, господствовавшим над общественным мнением во время Реставрации и получившим свое начало во время Первой империи, сама по себе уже не соответствует нынешнему состоянию знаний. Надобно еще прибавить, что Гегель по своей натуре или, быть может, по расчету облекал свои принципы в одежду очень консервативную, когда говорил о политических и теологических предметах. Смелый французский простолюдин, усвоив себе его метод, не остаться доволен его выводами и стал приискивать для принципов Гегеля развитие, более сообразное с их собственным духом и с своим личным образом мыслей, чем какое получили они у самого Гегеля. Если бы он заблаговременно был познакомлен с последующим развитием науки в Германии, он нашел бы в нем то, чего искал. Но не имея этого пособия, он был предоставлен своим собственным силам; а история его умственного развития помешала этим силам сохранить или приобрести качества, нужные для построения связной и однородной философской системы. Он слишком много начитался новых французских философов, прежде чем стал учеником Гегеля. Когда он переделывал его систему, он слишком часто упадал под влияние мыслей, какие прежде были привычны ему по французским книгам. Таким образом его собственная система составлялась из соединения гегелевской философии с понятия* ми французских философов, часто не имеющими научного духа. Повсюду, видна у него чрезвычайная сила ума, но слишком часто заметно, что ум этот связывался воззрениями, не имеющими никакого научного основания. Результатом столь неблагоприятных условий была темнота; он сам заметил ее и хотел выйти из нее или страстными порывами ненависти к преданию, против его воли опутывавшему его, или усилиями придать ему разумный смысл.

Во всем этом мы опять видим общие черты того умственного положения, в котором находится теперь западноевропейский простолюдин. Благодаря своей здоровой натуре, своей суровой житейской опытности, западноевропейский простолюдин в сущности понимает вещи несравненно лучше, вернее и глубже, чем люди более счастливых классов. Но до него не дошли еще те научные понятия, которые наиболее соответствуют его положению, наклонностям, потребностям и (как нам кажется, наиболее соответствуют истине, а во всяком случае) сообразны с нынешним положением знаний. При незнакомстве с этими понятиями он принужден учиться по книгам или положительно дурным, или устарелым, оставаться под влиянием ошибочных мнений, господствующих в так называемой образованной публике, в которой достигает господства только то, что уже отжило свое время в науке, принужден истощать свои силы на борьбу с предрассудками, уже разоблаченными истинно современной наукой, еще не дошедшей до него, или подчиняться этим (предрассудкам, переходить от гнева на них к покорности им, вместо того чтобы холодно отстранить их, как разоблаченную ложь, которая стала бы для него неопасна, как скоро он понял бы, что она чистейший вздор.

Вот почему мы думаем, что ни автор книги «De la justice», ни Милль не могут быть авторитетами в философии. Оба они чрезвычайно важны для человека, желающего узнать расположение мыслей в известных сословиях западноевропейского общества: из Милля он узнает, как благородная часть западноевропейских привилегированных классов смущается духом при виде осуществления тех идей, теоретическую справедливость которых сама она защищает, признавая их логически неотразимыми и ведущими к общему благу, но которые невыгодны для этих сословий. Автор книги «De la justice» показывает, как простолюдины, жаждущие перемен, затрудняются в их осуществлении тем, что воспитались в понятиях старины, не познакомились еще с воззрениями, соответствующими их потребностям. Но представителями этих воззрений, развитых современною наукою, ни Милль, ни Прудон не могут считаться

. Истинных представителей ее надобно и теперь, как прежде, искать в Германии. Быть может, мы ошибаемся, но нам кажется, что г. Лавров принужден был собственными силами доискиваться тех решений, которые уже найдены нынешнею немецкою философиею. Нам кажется, что изучение отживших форм немецкой философии и книг, написанных мыслителями английскими и французскими, предшествовало у него знакомству с новейшими немецкими мыслителями, и что будь иначе, прочти он несколькими годами позже те книги, которые прочтены им раньше, прочти он несколькими годами раньше те книги, которые прочтены им уже только по окончании внутренней его работы над построением своего образа мыслей, он писал бы несколько иначе. Мы не говорим, что он пришел бы к другим воззрениям, – нам кажется, что сущность его воззрений справедлива, – но они представлялись бы ему в виде более простом; быть может, мы выразились не так, и точнее было бы сказать: он решительнее находил бы, что отвергаемая им ложь – совершенно пустая ложь, могущая вызывать только улыбку сострадания, а не серьезное раздумье о том, можно ли безусловно отвергнуть ее. Очень может быть, что убеждение в простоте истины и в основательности совершенного разрыва современных воззрений с пустою софистикою, в которую одета древняя грубая ложь, отразилось бы и на его изложении большею доступностью для большинства публики; быть может, его статьи, которые теперь всеми уважаются, более читались бы тою частью публики, которая слишком наклонна оставлять непрочтенными книги и статьи, внушающие ей слишком большое уважение. Не входя в критику воззрений г. Лаврова, мы попробуем изложить наши понятия о тех же предметах; нам кажется, что они в сущности сходны с образом мыслей г. Лаврова; разница будет почти только в изложении и в приемах постановки вопроса.

Основанием для той части философии, которая рассматривает вопросы о человеке, точно так же служат естественные науки, как и для другой части, рассматривающей вопросы о внешней природе. Принципом философского воззрения на человеческую жизнь со всеми ее феноменами служит выработанная естественными науками идея о единстве человеческого организма; наблюдениями физиологов, зоологов и медиков отстранена всякая мысль о дуализме человека. Философия видит в нем то, что видят медицина, физиология, химия; эти науки доказывают, что никакого дуализма в человеке не видно, а философия прибавляет, что если бы человек имел, кроме реальной своей натуры, другую натуру, то эта другая натура непременно обнаруживалась бы в чем-нибудь и так как она не обнаруживается ни в чем, так Как все происходящее и проявляющееся в человеке происходит по одной реальной его натуре, то другой натуры в нем нет. Убедительность равняется убедительности тех оснований, по которым, например, вы, читатель, уверены, что, например, в эту минуту, когда вы читаете эту книгу, в той комнате, где вы сидите, нет льва. Вы так думаете, во-первых, потому, что не видите его глазами, не слышите его рыкания; но это ли одно ручается вам за то, что льва нет в вашей комнате? Нет, есть у вас второе ручательство за то: ручательством служит тот самый факт, что вы живы; если бы в вашей комнате находился лев, он бросился бы на вас и растерзал бы вас. Нет последствий, которыми неизбежно сопровождалось бы присутствие льва, потому вы знаете, что нет тут и льва. Скажите также, почему вы убеждены, что собака не умеет говорить? Вы не слышали, чтобы она когда-нибудь говорила; само по себе это было бы еще недостаточно: вы видели многих людей, которые молчали в то время, как вы их видели: они просто не хотели, а не то чтобы не умели говорить: быть может, и собака только не хочет говорить, а не то что не умеет говорить? Так и думают люди с неразвитым умом, верящие сказкам, в которых разговаривают животные, и объясняющие свое предположение таким способом: собака очень умна и хитра, она знает, что слова часто доводят до беды, оттого и молчит, расе читав, что молчать гораздо безопаснее, чем говорить. Вы смеетесь над такими замысловатыми объяснениями и понимаете дело проще: вы видели случаи, в которых собака не могла бы не говорить, если бы имела эту способность; например, убивают собаку; она визжит изо всех сил, ей, очевидно, невозможно удержаться от выражения своей мысли о том, что ей больно, о том, что с нею поступают жестоко. Она ищет всяких средств выразить это и находит одно средство – визг, а слов не находит; значит, в ней нет дара слова; если б он был в ней, она действовала бы иначе. Дано обстоятельство, в котором существование известного элемента в известном предмете непременно имело бы известный результат; этого результата нет, потому нет и этого элемента. Возьмем еще случай. Почему вы знаете, что, например, г. Юм, наделавший у нас в Петербурге такого шума года два тому назад своими фокусами, – действительно только фокусник, а не может в самом деле знать будущего, знать тайн, которых ему не сказывали, читать книг и бумаг, которые не находятся у него перед глазами? Вы знаете это вот почему: если бы он мог знать будущее, он был бы сделан дипломатическим советником при каком-нибудь дворе и рассказывал бы министерству этого двора все, что произойдет в данных случаях: например, он сказал бы

Рехбергу в прошлом марте, что если австрийцы начнут войну, то они будут побиты при Палестро, Мадженте и Сольферино и потеряют Ломбардию. Тогда австрийцы не начали бы войны, и не было бы ничего из того, что произошло в прошлом году в Италии, Франции, Австрии, а происходило бы что-нибудь совершенно иное. Если бы он мог читать книги, не находящиеся у него под глазами, тогда правительства и ученые общества не стали бы посылать ученых на восток отыскивать древние рукописи, а обратились бы с просьбой к нему, и он из Парижа прочел бы и продиктовал бы им какого-нибудь неизвестного нам теперь древнего греческого писателя, список которого уцелел в каком-нибудь сирийском захолустье. Этого нет, г. Юм и его собратья по искусству не открыли ровно ничего ни дипломатам, ни ученым; а непременно открывали бы им важные вещи, если бы могли, потому что это было бы для них и несравненно выгоднее, и несравненно почетнее фокусничества; потому они и не имеют той способности, которую приписывают им легковерные люди. О всех таких случаях не довольно сказать: мы не знаем, существует ли известный элемент; нет, рассудок обязывает нас прямо сказать: мы знаем, что этого элемента нет; если б он был, то происходило бы не то, что происходит.

Но при единстве натуры мы замечаем в человеке два различные ряда явлений: явления так называемого материального порядка (человек ест, ходит) и явления так называемого нравственного порядка (человек думает, чувствует, желает). В каком же отношении между собою находятся эти два порядка явлений? Не противоречит ли их различие единству натуры человека, показываемому естественными науками? Естественные науки опять отвечают, что делать такую гипотезу мы не имеем основания, потому что нет предмета, который имел бы только одно качество, — напротив, каждый предмет обнаруживает бесчисленное множество разных явлений, которые мы для удобства суждения о нем подводим под разные разряды, давая каждому разряду имя качества, так что в каждом предмете очень много разных качеств. Например, дерево растет, горит; мы говорим, что оно имеет два качества: растительную силу и удобосгораемость. В чем сходство между этими качествами? Они совершенно различны; нет такого понятия, под которое можно было бы подвести оба эти качества, кроме общего понятия качество; нет такого понятия, под которое можно было подвести оба ряда явлений, соответствующих этим качествам, кроме понятия явление. Или, например, лед тверд и блестящ; что общего между твердостью и блеском? Логическое расстояние от одного из этих качеств до другого безмерно велико, или, лучше сказать, нет между ними никакого, близкого или далекого, логического расстояния, потому что нет между ними никакого логического отношения. Из этого мы видим, что соединение совершенно разнородных качеств в одном предмете есть общий закон вещей. Но в этом разнообразии естественные науки открывают и связь, — не по формам обнаружения, не по явлениям, которые решительно несходны, а по способу происхождения разнородных явлений из одного и того же элемента при напряжении или ослаблении энергичности в его действовании. Например, в воде есть свойство иметь температуру — свойство, общее всем телам. В чем бы ни состояло свойство предметов, называемое нами теплотою, но оно при разных обстоятельствах обнаруживается с очень различными величинами. Иногда один и тот же предмет очень холоден, то есть обнаруживает очень мало тепла; иногда он очень горяч, то есть обнаруживает его очень много. Когда вода, по каким бы то ни было обстоятельствам, обнаруживает очень мало теплоты, она бывает твердым телом — льдом; обнаруживая несколько больше теплоты, она бывает жидкостью; а когда в ней теплоты очень много, она становится паром. В этих трех состояниях одно и то же качество обнаруживается тремя порядками совершенно различных явлений, так что одно качество принимает форму трех разных качеств, разветвляется на три качества просто по различию количества, в каком обнаруживается: количественное различие переходит в качественное различие.

Но разные предметы различаются между собою своею способностью обнаруживать известные общие им качества в очень различных количествах. Например, железо, серебро, золото обнаруживают очень значительное количество того качества, которое называется тяжестью и мерилом которого у нас на земле служит вес. Воздух обнаруживает это качество в таком малом количестве, что только особенными учеными исследованиями оно открыто в нем, а каждый человек, не знакомый с наукою, по необходимости предполагает, будто бы в воздухе вовсе нет тяжести. Точно так же думали о всех газообразных телах. Возьмем другое качество — способность сжиматься от давления. Без особенных средств анализа, даваемых только наукою, никто не заметит, чтобы жидкости сжимались от какого бы то ни было давления: кажется, будто бы вода сохраняет совершенно прежний объем под самым сильным давлением. Но наука отыскала факты, показывающие, что и вода в некоторой степени сжимается от давления. Из этого надобно заключать, что когда нам представляется какое-нибудь тело, не имеющее, по-видимому, известного качества, то надобно употребить научный анализ для проверки этого впечатления, и

если он скажет, что качество это находится в теле, то надобно не твердить упорно: наши не вооруженные научными средствами чувства говорят противное, а надобно просто сказать: результат, полученный при помощи исследования предмета с нужными научными средствами, показывает неудовлетворительность впечатления, получаемого чувствами, лишенными нужных в этом деле пособий.

С другой стороны, когда кажется, будто бы известный предмет имеет какое-нибудь особенное качество, которого будто бы совершенно нет в других предметах, то надобно опять исследовать дело научным образом. Например, нам кажется, что дерево имеет способность совершенно особенную, какой нет И большей части других тел: оно горит, а камень, глина, железо не горят. Но когда мы исследуем при помощи научных пособий процесс, называемый горением, то мы найдем, что он состоит в соединении некоторых элементов известного тела с кислородом; вместе с этим наука показывает, что в большей части так называемых негорючих тел постоянно происходит точно тот же процесс соединения всех или некоторых из составных их частей с кислородом. Например, железо постоянно окисляется, — на разговорном языке этот вид процесса называется особенным словом «ржаветь»; но наука открывает, что ржавенье и горение — совершенно один и тот же процесс и что эти два случая его представляются различными для нашего впечатления только оттого, что в одном случае процесс происходит гораздо быстрее, гораздо интенсивнее, нежели в другом.

Отчего же теперь разные предметы имеют различную величину интенсивности в обнаружении известного качества при одинаковых условиях? Отчего камень в обыкновенных житейских условиях обнаруживает очень сильную степень качества, называемого тяжестью, а воздух не обнаруживает его иначе, как при пособии особенных научных средств, увеличивающих проницательность наших чувств? Отчего окисление железа происходит в обыкновенной атмосфере гораздо медленнее, чем окисление дерева, когда оба предмета положены в одну и ту же горящую печь? Наука говорит, что она еще не успела исследовать законов, от которых зависит эта разница в немногих телах, остающихся в химии пока под именем простых, но что во всех остальных телах, которые успела она разложить, эта разница происходит от различия в составе или от различия состояний, в которых находятся составные части сложного тела. Например, разнице между водою и маслом или водяным паром и камнем соответствует разница в составе этих тел. Разнице между углем и алмазом соответствует то различие, что составные части угля находятся в некристаллизованном, а составные части алмаза в кристаллизованном состоянии. Естественные науки замечают также, что простые или составленные из них сложные тела, входя между собою в химические соединения, вообще дают в продукте тело, обнаруживающее такие качества, каких не обнаруживали составные его части, когда находились порознь. Так, например, из соединения в известной пропорции водорода и кислорода образуется вода, имеющая множество таких качеств, которых не было заметно ни в кислороде, ни в водороде. Об этих комбинациях химия замечает, что многосложные из них вообще отличаются большею переменчивостью, так сказать подвижностью. Так, например, железная ржавчина, состоящая только из соединения железа с кислородом в очень простой пропорции, очень постоянна, так что нужно действовать на нее чрезвычайно высокою температурою или чрезвычайно сильными реагентами, чтобы произвести перемену в этом теле. Но кровяной шарик, в котором железная окись служит только одним из элементов многосложной химической комбинации с примесями разных других тел, например, воды, никак не может долго сохранять своего состава: он, можно сказать, не существует в постоянном виде, как существуют частички ржавчины, а беспрестанно изменяется, приобретая новые частицы и теряя прежние. То же надобно сказать о всех многосложных химических комбинациях: они имеют очень сильную наклонность существовать постоянным возникновением, возрастать, обновлением и, наконец, уничтожаться среди обыкновенных обстоятельств, так что существование предмета, состоящего из таких комбинаций, состоит в беспрестанном возобновлении частей и представляется непрерывным химическим процессом.

Многосложные химические комбинации, имеющие этот характер, одинаково обнаруживают его, находятся ли «они» в так называемых органических телах или возникают и существуют вне их, в так называемой неорганической природе. Еще не очень давно казалось, что так называемые органические вещества (например, уксусная кислота) существуют только в органических телах; но теперь известно, что при известных условиях они возникают и вне органических тел, так что разница между органическою и неорганическою комбинациею элементов несущественна и так называемые органические комбинации возникают и существуют по одним и тем же законам и все они одинаково возникают из неорганических веществ. Например, дерево отличается от какой-нибудь неорганической кислоты собственно тем, что кислота эта — комбинация немногосложная, а дерево — соединение многих многосложных комбинаций. Это как будто разница между 2 и 200,- разница

количественная, не больше.

Итак, естественные науки видят в существовании органического тела, каково, например, растение или насекомое, химический процесс. Об этом явлении вообще замечают естественные науки, что во время химического процесса тела обнаруживают такие качества, каких совершенно незаметно в них при состоянии неподвижного соединения. Например, дерево само по себе не жжет; трут, кремень и огниво также не жгут; но если частичка стали, раскаленная трением (ударом) о кремень и оторванная от огнива, попадает в трут и, чрезвычайно возвысивши температуру некоторой частички этого трута, дает условие, нужное для начала в этой частичке трута химического процесса, называемого горением, то постепенно весь кусок трута, вовлекаясь в этот химический процесс, начинает жечь, чего не делал, когда в нем не было химического процесса; будучи пододвинут к дереву во время этого процесса, он также вовлекает его в свой химический процесс горения, и дерево во время этого процесса также жжет, светит и обнаруживает другие качества, каких не замечалось в нем до начала процесса. Возьмем какой угодно другой химический процесс, мы увидим то же самое: тело, находящееся в нем, обнаруживает качества, каких не обнаруживало до начала процесса. Возьмем, например, процесс брожения. Пивное сусло стоит спокойно в своем чану; дрожжи также (неподвижны в своей кружке. Положите дрожжи в сусло, начинается химический процесс, называемый брожением: сусло бурлит, пенится, бьется в своем сосуде. Разумеется, когда мы говорим о различии состояния тел во время химического процесса и в такое время, когда не находятся они в процессе, мы говорим только о количественной разнице между сильным, быстрым ходом процесса и очень медленным, слабым ходом его. Собственно говоря, каждое тело постоянно находится в состоянии химического процесса; например, бревно, если и не будет зажжено, не сгорит в печи, а будет спокойно, как будто без всяких перемен лежать в стене дома, все-таки когда-нибудь придет к тому же концу, какому приводит его горение: оно постепенно истлеет, и от него останется тоже только пепел (пыль гнилушки, которая, наконец, оставит от себя на прежнем месте только минеральные частицы пепла). Но если этот процесс, как, например, при обыкновенном тлении бревна в стене дома, происходит чрезвычайно медленно и слабо, то и качества, свойственные телу, находящемуся в процессе, обнаруживаются с микроскопической слабостью, которая в житейском быту совершенно неуловима. Например, при медленном истлевании дерева, лежащего в стене дома, также развивается теплота; но то количество ее, которое при горении сосредоточилось бы в течение нескольких часов, тут разжижается (если можно так выразиться) на несколько десятков лет, так что не достигает никакого результата, удобоуловимого на практике: существование этой теплоты ничтожно для практических суждений. Это то же самое, как винный вкус в целом пруде воды, в который брошена одна капля вина: с научной точки зрения этот пруд содержит в себе смесь воды с вином, но в практике надобно принимать, что вина в нем как будто вовсе нет.

Читатель, вероятно, скажет, что все наши рассуждения так же справедливы, как справедливы были бы рассуждения об обращении земли около солнца, о холоде на полюсах, о жаре под тропиками, и столь же мало идут к делу. Читатель без всякого сомнения, будет прав, сказав, что мы занимаемся теперь пустословием. Но гораздо легче заметить в себе недостаток или согласиться с словами людей, указывающих его, нежели исправиться от него. Вообще люди наклонны щегольнуть знакомством с такими вещами, с которыми, в сущности, мало знакомы, любят выказывать это свое мнимое знакомство кстати и некстати; почему же нам следовало бы не иметь этого недостатка? А если мы уже имеем его, то почему же и не выказываться ему? Пусть же себе выказывается, и будем заниматься не идущими к делу рассуждениями о естественных науках, мало нам знакомых, пока надоест нам это щегольство, — тогда мы займемся чем-нибудь другим, чего, быть может, также вовсе не знаем, например, хоть нравственною философиею. Читатель подумает: однако же, труден будет переход от химии к общественным учреждениям. Ну вот, будто бы уже и трудно найти фразу, которой бы связывались совершенно несвязные части рассуждения? Когда придет нам охота говорить о философии вместо химии, мы просто напишем: «итак, до сих пор мы рассуждали вот о чем, а теперь будем рассуждать вот о чем», и дело будет кончено — удовлетворительный переход сделан. Разве не делают беспрестанно точно таких же переходов очень знаменитые авторитеты: напишут две фразы, решительно не клеящиеся между собою, поставят между ними «итак» или «следовательно», — и силлогизм готов, и все доказано.

Но мы чувствуем, что еще на несколько страниц хватит у нас желания толковать вместо философии о естественных науках, совершенно не идущих к делу, по справедливому замечанию читателя. Смутило было нас одно обстоятельство: мы уже истощили весь скудный запас наших сведений о химических комбинациях и процессах; мы не имеем что тут больше сказать, а говорить нам охота страшная. Вот она-то и выручает нас из беды: «сказал все, что знаешь об одном, шепчет нам она, кидайся

на другое, что подвернется под язык». Мы послушались доброго совета. Давайте же говорить хоть о царствах природы: кое-что каждый о них знает, хоть иной и маловато; кое-что знаем и мы, и уже сами чувствуем, что маловато, а все-таки на несколько страниц достанет. Но тут в другое ухо желание как можно дольше уклоняться от настоящего предмета речи, чтобы наговорить как можно больше не идущего к делу, подшепнуло нам другой совет: «из трех царств природы, минерального, растительного и животного, вы пока ничего не говорите о том, которое одно могло бы представлять примеры хотя некоторой аналогии с человеческою жизнью, о жизни муравьев, пчел, бобров, — не говорите ничего о царстве животных». Мы слушаемся и этого совета, хотя он очевидно нелеп: нелепостей в жизни делаешь так много, что одною больше или одною меньше — не составит ровно никакой разницы, как не составляет ровно никакой разницы в температуре присутствие какой-нибудь сгнивающей щепы. Будем же говорить о неорганической природе и о растительном царстве.

Нам нравится эта новая тема, собственно, потому, что, и независимо от недостаточности наших знаний о ней, нельзя было бы сказать о ней ничего дельного, потому что она сама по себе чужда всякой реальности, вводя в природу подразделение, которого в природе вовсе нет. Оно только кажется незнающему человеку, что камень — сам по себе, а растение — вещь совершенно другого рода; на самом же деле открывается, что оба эти предмета, столь несходные, состоят из одинаковых частей, соединившихся по одним и тем же законам, только соединившихся в разной пропорции. Разлагаем камень и находим, что он составился из газов и металлов; разлагаем растение и в нем тоже находим газы и металлы. В камнях металлы находятся не в чистом своем виде, а в разных соединениях с кислородом; в растениях — тоже. В камнях газы находятся не каждый особо, не сам по себе, а в разных соединениях с другими газами и металлами; в растениях — тоже. Больше всего в растении таких частей, которые прямо состоят из голого камня: в живом растении этот камень составляет две трети или три четверти всей массы растения или даже больше; этот камень — вода. От вещей, которые называются камнями в обыкновенном языке, этот камень отличается лишь тем, что плавится при температуре очень низкой, между тем как обыкновенные камни плавятся только при чрезвычайно высокой температуре. Но если расплавленный кварц не перестает быть кварцем, камнем, то и минерал, бывающий в расплавленном виде водою (лед), не перестает, расплавившись, быть минералом. Итак, от обыкновенных руд, камней и других неорганических тел растение отличается, собственно тем, что представляет комбинацию элементов гораздо более сложную и потому гораздо быстрее проходящую химический процесс в обыкновенной атмосфере, чем неорганические тела, и притом по самой своей многосложности проходящую процесс гораздо более сложный. В неорганическом теле происходит, например, окисление только одного рода, а в растении одновременно совершается окисление в нескольких степенях, и притом в неорганическом теле окислению подвергаются один или два элемента его однообразной комбинации, а в растении — вдруг несколько химических соединений, из которых каждое довольно многосложно. Само собою разумеется, что, находясь в таком быстром и многосложном химическом процессе, тела обнаруживают такие качества, которых не проявляют при процессах менее быстрых и сложных. Словом сказать, разница, между царством неорганической природы и растительным царством подобна различию между маленькою травкою и огромным деревом — это разница по количеству, по интенсивности, по многосложности, а не по основным свойствам явления: былинка состоит из тех же частиц и живет по тем же законам, как дуб; только дуб гораздо многосложнее былинки: на нем десятки тысяч листьев, а на былинке всего два или три. Опять само собою разумеется, что одинаковость тут существует для теоретического знания о предмете, а не для житейского обращения с ним: из былинок нельзя строить домов, а из дубов можно. В житейском быту мы совершенно правы, когда считаем руду и растения предметами, принадлежащими к совершенно разным разрядам вещей; но точно так же мы правы в житейском быту, считая лес вещью совершенно иного разряда, чем трава. Теоретический анализ приходит к другому результату: он находит, что эти вещи, столь различные по своему житейскому отношению к нам, должны считаться только разными состояниями одних и тех же элементов, входящих в разные химические комбинации по одним и тем же законам. Для открытия этого тождества между травою и дубом был достаточен анализ ума, не обогащенного большим запасом наблюдений и тонкими средствами исследования; для открытия одинаковости между неорганическим веществом и растением нужен был гораздо больший умственный труд при помощи гораздо сильнейших средств исследования. Химия составляет едва ли не лучшую славу нашего века.

Впрочем, громадный запас наблюдений и особенно тонкие средства анализа нужны не столько затем, чтобы гениальный ум мог увидеть истину, открытие которой требует глубоких соображений, — чаще всего бывает, по крайней мере в общих философских

вопросах, что истина заметна с первого взгляда человеку пытливого и логичного ума, — обширные исследования и громадные научные средства в этих случаях приносят, собственно, ту пользу, что без них истина, открытая гениальным человеком, остается его личным соображением, которого он не в силах доказать точным ученым образом, и потому или остается не принята другими людьми, продолжающими страдать от своих ошибочных мнений, или, что едва ли не хуже еще, принимается другими людьми не на разумном основании, а по слепому доверию к словам авторитета. Принципы, разъясненные и доказанные теперь естественными науками, были найдены и приняты за истину еще греческими философами, а еще гораздо раньше их — индийскими мыслителями, и, вероятно, были открываемы людьми сильного логического ума во все времена, во всех племенах. Но развить и доказать истину логическим путем прежние гениальные люди не могли. Она известна была всегда повсюду, но стала наукою только в последние десятилетия. Природу сравнивают с книгою, заключающею в себе всю истину, но написанною языком, которому нужно учиться, чтобы понять книгу. Пользуясь этим уподоблением, мы скажем, что очень легко можно выучиться каждому языку настолько, чтобы понимать общий смысл написанных им книг; но очень много и долго нужно учиться ему, чтобы уметь отстранить все сомнения в основательности смысла, какой мы находим в словах книги, уметь объяснить каждое отдельное выражение в ней и написать хорошую грамматику этого языка.

Единство законов природы было понято очень давно гениальными людьми; но только в последние десятилетия наше знание достигло таких размеров, что доказывает научным образом основательность этого истолкования явлений природы.

Говорят: естественные науки еще не достигли такого развития, чтобы удовлетворительно объяснить все важные явления природы. Это — совершенная правда; но противники научного направления в философии делают из этой правды вывод вовсе не логический, когда говорят, что пробелы, остающиеся в научном объяснении натуральных явлений, допускают сохранение каких-нибудь остатков фантастического миросозерцания. Дело в том, что характер результатов, доставленных анализом объясненных наукою частей и явлений, уже достаточно свидетельствует о характере элементов, сил и законов, действующих в остальных частях и явлениях, которые еще не вполне объяснены: если бы в этих необъясненных частях и явлениях было что-нибудь иное кроме того, что найдено в объясненных частях, тогда и объясненные части имели бы не такой характер, какой имеют. Возьмем какую угодно отрасль естественных наук — положим, хотя географию или геологию — и посмотрим, какой характер могут иметь, какого характера не могут иметь сведения, которых мы еще не приобрели по разным частям предмета, исследуемого этими науками. При нынешнем развитии географии мы еще не имеем удовлетворительных сведений о странах около полюсов, о внутренности Африки, о внутренности Австралии. Без сомнения эти пробелы в географическом знании очень прискорбны для науки и, по всей вероятности, даже для практической жизни было бы нужно пополнить их, потому что очень может быть, что в этих странах найдется что-нибудь новое и пригодное для жизни: очень может быть, что во внутренности Австралии найдутся новые золотые россыпи или рудники еще обильнее тех, какие найдены на ее прибрежье; очень может быть, что во внутренности Африки найдутся какие-нибудь новые горные породы, новые растения, новые метеорологические явления; все это очень может быть, и пока не будет произведено точное исследование этих стран, никак нельзя с точностью сказать, какие именно вещи и явления найдутся в них: но можно уже и теперь с достоверностью сказать, каких вещей и каких явлений никак не будет в них найдено. Под полюсами, например, не найдется жаркого климата и роскошной растительности. Этот отрицательный вывод несомненен, потому что, если бы под полюсами средняя температура была высока или хотя умеренна, не таково было бы состояние северной Сибири, северной части английских владений в Америке, морей, соседних с полюсами. В Центральной Африке также не найдется полярного холода, потому что, если бы центральная часть африканского материка имела климат холодный, не таково было бы климатическое состояние южной полосы Алжирии, верхнего Египта и других земель, окружающих центр Африки. Какие именно реки найдутся в Центральной Африке или Австралии, мы этого не знаем, но наверное можно сказать, что если найдутся там реки, то течение в них будет сверху вниз, а не снизу вверх. Точно то же надобно сказать и о тех частях земного шара, которых еще не успела исследовать геология. Мы исследовали только один очень тонкий слой земной коры, не составляющий и одной тысячной части всего шара; в безмерной массе вещества, скрывающегося под этою корою, конечно, находится много тел и явлений, не встречающихся в доступной нам ничтожной части его. Но по этой одной части мы уже достоверно знаем, какой характер имеют и какого характера не имеют предметы и феномены, заключенные в недоступных нам недрах шара. Мы знаем, что там температура страшно высокая, — если бы она не была так высока, не то было бы на поверхности земли, что

находится и происходит теперь; мы знаем, что в такой высокой температуре не могут удерживаться те химические соединения, которые составляют так называемое органическое царство; потому мы знаем, что в недрах земли нет растительной и животной жизни, какая существует на поверхности земли. Там нет никаких организмов, сколько-нибудь подобных нашим растениям или животным. Если мы захотим сказать, что на полюсах или в Центральной Африке, или в недрах земли находятся тела именно вот такого разряда, что там происходят феномены именно вот такого вида, это будет только гипотезою, может быть и ошибочною; мы не можем отгадать, вода или земля находится под полюсами; покрыто льдами или иногда бывает чисто от них море под полюсами, если там море; покрыта вечным льдом или имеет по временам какую-нибудь растительность земля под полюсами, если там земля, — эти положительные заключения были бы только догадками, не имеющими научной достоверности; но отрицательные выводы, каковые например, то, что под полюсами не может расти виноград или дуб, что не могут там жить обезьяны или попугаи, — эти отрицательные выводы имеют совершенную научную достоверность; это уже не гипотезы, не догадки, это — достоверное знание, основанное на отношении явлений, происходящих в известных нам странах земной поверхности, к неисследованным нами феноменам неизвестных частей ее. Возможно ли, в самом деле, усомниться в том, что под полюсами не живут попугаи? Для попугаев нужна средняя годичная температура в 15 или 18 градусов выше точки замерзания, а если бы на северном полюсе была такая температура, то Гренландия имела бы климат, по крайней мере, столь же теплый, как Италия. Или возможно ли сомневаться в том, что в слоях земного шара, близких к центру его, нет растительных организмов? Чтобы они могли там существовать, нужна была бы там температура не выше точки кипения воды, потому что без воды нет никаких растений; а если бы там была температура ниже точки кипения воды, тогда не находили бы мы, что, чем дальше в глубь, тем выше температура слоев исследованной нами оболочки земного шара.

К чему мы так долго останавливаемся на явлениях и заключениях, каждому известных? Просто оттого, что по непривычке к систематическому мышлению слишком, «многие люди слишком наклонны не замечать смысл общих законов, который одинаков со смыслом отдельных феноменов, ими понимаемых. Мы хотели как можно сильнее выставить силу одного из таких общих законов: если при нынешнем состоянии научного наведения (индуктивной логики) мы в большой части случаев еще не можем с достоверностью определить по исследованной нами части предмета, какой именно характер имеет неисследованная часть его, то уже всегда можем с достоверностью определять, какого характера не может иметь она. Наши положительные заключения от характера известного к характеру неизвестного при нынешнем состоянии наук находятся еще на степени догадок, подлежащих спору, доступных ошибкам; но отрицательные заключения уже имеют полную достоверность. Мы не можем сказать, чем именно окажется неизвестное нам; но мы уже знаем, чем оно не оказывается. Фантастические гипотезы, разрушаемые этими отрицательными выводами, в химии, в географии, в геологии уже не заслуживают никакой борьбы, потому что всеми и каждым сколько-нибудь образованным человеком признаются за бредни. Географ не имеет нужды доказывать, что под полюсами не найдется обезьян, в Центральной Африке не найдется безголовых людей, в Центральной Австралии — рек, текущих снизу вверх, в недрах земли — сказочных садов и циклопов, кующих оружие Ахиллесу под надзором Вулкана. Но человек с логическим умом точно так же смотрит на фантастические гипотезы и в других науках: он так же видит, что все это бредни, несовместные с нынешним состоянием знаний. Говорят, что открытия, сделанные Коперником в астрономии, произвели перемену в образе человеческих мыслей о предметах, по-видимому очень далеких от астрономии. Точно такую же перемену и точно в том же направлении, только в гораздо обширнейшем размере, производят ныне химические и физиологические открытия: от них изменяется образ мыслей о предметах, по-видимому очень далеких от химии. Теперь, чтобы сколько-нибудь свести конец этой статьи с ее началом, мы опять обратимся мыслью к будущим судьбам Западной Европы, о которых были принуждены говорить по поводу приводимых г. Лавровым из Милля и Прудо-на цитат о прискорбной будто бы перспективе, грозящей западному человечеству. Химия, геология и потом, вдруг, рассуждения о политических партиях в Англии или Франции, о западноевропейских нравах, о надеждах и опасениях разных сословий и разных публицистов — какой произвольный переход, какое отсутствие логики! Что ж делать, читатель: чем богаты, тем и рады; ничего другого вы и не должны были ждать от нашей статьи. Попробуемте приложить к ее характеру метод отрицательных заключений о характере неизвестного по характеру известного и посмотрим, чего никак не должны были бы вы ожидать от этой статьи, если бы потрудились употребить в дело этот метод перед тем, как начали читать ее. Статья написана по-русски, для русской публики: это вам было известно по самой обертке журнала. Статья эта хочет говорить о философских

вопросах, – это также было видно по ее заглавию на обертке книжки. Теперь рассудите сами: есть ли какая-нибудь логика в этих двух известных вам фактах? Какой-то господин написал статью для русской публики; нужны ли для русской публики журнальные статьи? Судя по всему, решительно не нужны; потому что, если б были нужны, они были бы не таковы, какие бывают теперь. Итак, этот неизвестный вам господин, автор этой статьи, поступил вовсе не логично, сделал то, чего не нужно публике, – написал статью. Но вы, по своему великодушию, допустили эту нелепость без порицания: вздумал он делать то, чего никому не нужно, – ну, так и быть – написал статью, так пусть написал. Теперь другой вопрос: о чем же он написал ее? о философии. О философии! Господи, твоя воля! да кто же в русском обществе думает о философских вопросах? Разве г. Лавров, – да и то сомнительно: быть может, и самому г. Лаврову гораздо интереснее всевозможных философских вопросов наши житейские и общественные дела. Выбор предмета для такого нелогического поступка, как написание журнальной статьи, еще нелогичнее самого этого поступка. Чего же вы могли ожидать от статьи, к самому началу которой приложены две такие крупные печати с надписью: отсутствие логики? При нынешнем состоянии наук в России нельзя достоверно сказать, какие вещи можно было ожидать найти в этой статье вам, судившим о ней по ее заглавию; но можно достоверно сказать, что никак нельзя было ожидать найти в ней логику. А где нет логики, там бессвязность. Вот вам небольшой опыт приложения теории отрицательных выводов от характера известного к характеру неизвестного. Не правда ли, принцип достоверности этого метода блистательно подтвердился прочтенною вами статьею? Мы говорим не по увлечению авторским самолюбием, – мы говорим по искреннему и верному убеждению, что эта статья своею бессвязностью, бестолковостью возвышается над всеми другими читанными вами статьями, по крайней мере, на столько же, на сколько интенсивность химического процесса в растительной жизни возвышается над его интенсивностью в неорганической природе. Скажите же теперь, не должны ли мы, чтобы выдержать характер статьи, переброситься к рассуждениям о будущности Западной Европы от химических рассуждений?

Мы видели, какой характер принадлежит образу мыслей в благородной части тех сословий Западной Европы, которые ждут себе потерь от перемен, признаваемых ими самими за неизбежные и справедливые. Скорбь о своей предстоящей судьбе производит смущение в их уме. У них нет сил применить к близкому для них факту принцип, принимаемый ими в его общем, отвлеченном виде. Мы видели, на какой ступени развития находится образ мыслей простолюдина Западной Европы. До него еще не дошла общая идея нынешней науки, выводы которой согласны с его потребностями. Он еще держится устарелых принципов, но видит совершенную несостоятельность выводов, сделанных из них его учителями, людьми старых систем, и беспрестанно переходит от желчного отрицания их к подчиненности им. В этом смирении он не может удержаться надолго и опять изливается в едких тирадах, чтобы опять смириться перед рутиною. Эта желчная переменчивость, это колебание вовсе не принадлежит духу новых идей: напротив, шаткость воззрений, выражающаяся смесью скептицизма с излишнею доверчивостью, происходит именно от недостаточного знакомства с идеями, выработанными нынешнею наукой. Читатель видит, какой характер имеют ее принципы и выводы. Основаниями своих теорий она берет истины, открытые естественными науками посредством самого точного анализа фактов, истины столь же достоверные, как обращение земли вокруг Солнца, закон тяготения, действие химического сродства. Из этих принципов, не подлежащих никакому спору или сомнению, современная наука делает свои выводы путем столь же осмотрительным, как и тот, которым дошла до них. Она не принимает ничего без строжайшей, всесторонней поверки и не выводит из принятого никаких заключений, кроме тех, которые сами собою неотразимо следуют из фактов и законов, отвергать которых нет никакой логической возможности. При таком характере новых идей человеку, раз принявшему их, не остается уже никакой дороги к отступлению назад или к каким-нибудь сделкам с фантастическими заблуждениями.

Таким образом существенный характер нынешних философских воззрений состоит в непоколебимой достоверности, исключающей всякую шаткость убеждений. Из этого легко заключить, какая судьба ждет человечество Западной Европы. Свойство каждого нового учения состоит в том, что нужно ему довольно много времени на распространение в массах, на то, чтобы стать господствующим убеждением. Новое и в идеях, как в жизни, распространяется довольно медленно; но зато и нет никакого сомнения в том, что оно распространяется, постепенно проникая все глубже и глубже в разные слои населения, начиная, конечно, с более развитых. Нет никакого сомнения, что и простолюдины Западней Европы ознакомятся с философскими воззрениями, соответствующими их потребностям . Тогда найдутся у них представители не совсем такие, как Прудон: найдутся писатели, мысль которых не будет, как мысль Прудона, спутываться преданиями или задерживаться устарелыми формами науки в анализе общественного положения и полезных для общества реформ.

Когда придет такая пора; когда представители элементов, стремящихся теперь к пересозданию западноевропейской жизни, будут являться уже непоколебимыми в своих философских воззрениях, это будет признаком скорого торжества новых начал и в общественной жизни Западной Европы.

Теперь мы замечаем, — жаль, что заметили слишком поздно, — что эта статья, при всей своей бессвязности, может служить предисловием к изложению понятий нынешней науки о человеке, как отдельной личности. Если б это замечено было нами раньше, мы постарались бы сократить окольные наши отступления из философии в естественные науки; тогда предисловие не имело бы такой излишней длинноты и осталось бы нам довольно страниц для очерка теории личности, как понимает ее нынешняя наука. Но теперь уже поздно поправлять дело, и нам остается только надежда, что нынешняя статья, могущая, как мы видим, служить предисловием к очерку философских понятий о человеке, в самом деле послужит предисловием к нему.

II

Словом «наука» (science) у англичан называются далеко не все те отрасли знания, которые у нас и у других континентальных народов обнимаются этим выражением. Англичане называют науками математику, астрономию, физику, химию, ботанику, зоологию, географию, — те отрасли знаний, которые называются у нас «точными» науками, и те, которые очень близко подходят к ним по своему характеру; но они не разумеют под выражением «наука» ни истории, ни психологии, ни нравственной философии, ни метафизики. Надобно сказать, что действительно существует громадная разница между этими двумя половинами знаний по качеству понятий, господствующих в той или другой. Из одной половины каждый сколько-нибудь просвещенный человек уже удалил всякие неосновательные предубеждения, и все рассудительные люди уже держатся в этих предметах одинаковых коренных понятий. Знания наши и по этим отраслям бытия очень неполны; но, по крайней мере, каждый тут знает, что нам известно основательным образом, что еще неизвестно и что, наконец, несомненным образом опровергнуто точными исследованиями. Попробуйте, например, сказать, что человеческому организму нужна пища или нужен воздух, — с вами никто не будет спорить; попробуйте сказать, что еще неизвестно, те ли одни вещества могут служить пищею человеку, какими теперь он питается, и что, может быть, найдутся новые вещества, пригодные для этой цели, — с вами также никто из просвещенных людей не станет спорить и каждый прибавит только, что если новые вещества для пищи и будут найдены, если и очень вероятно, что они будут найдены, то до сих пор они еще не найдены, и человек пока может питаться только известными веществами, вроде хлебных растений, мяса, молока или рыбы; вы, в свою очередь, совершенно согласитесь с этим замечанием, и спора тут у вас быть не может. Спорить вы можете только о том, как велика или мала вероятность скорого открытия новых питательных веществ и к какому роду вещей скорее всего могут принадлежать эти новые, еще не открытые вещества; но в этом споре вы и ваш противник одинаково будет знать и признаваться, что выражаете только догадки, не имеющие полной достоверности, могущие оказаться более или менее полезными для науки впоследствии времени (потому что догадки, гипотезы дают направление ученым исследованиям и ведут к открытию истины, подтверждающей или опровергающей их), но еще вовсе не входящие в число научных истин. Попробуйте сказать, наконец, что без пищи человек существовать не может, — и тут каждый с вами согласится, и каждый понимает, что это отрицательное суждение находится в неразрывной логической связи с положительным суждением: «человеческому организму нужна пища»; каждый понимает, что если принять одно из этих двух суждений, то непременно надобно принять и другое. Совсем не то, например, в нравственной философии. Попробуйте сказать, что хотите — всегда найдутся люди умные и образованные, которые станут говорить противное. Скажите, например, что бедность вредно действует на ум и сердце человека, — множество умных людей возразят вам: «нет, бедность изощряет ум, принуждая его приискивать средства к ее отвращению; она облагораживает сердце, направляя наши мысли от суетных наслаждений к доблестям терпения, самоотвержения, сочувствия чужим нуждам и бедам». Хорошо; попробуйте сказать наоборот, что бедность выгодно действует на человека, — опять такое же множество или еще большее множество умных людей возразят: «нет, бедность лишает средств к умственному развитию, мешает развитию самостоятельного характера, влечет к неразборчивости в употреблении средств для ее отвращения или для простого поддержания жизни; она главный источник невежества, пороков и преступлений». Словом сказать, какой бы вывод ни вздумали вы сделать в

нравственных науках, вы всегда найдете, что и он, и другой, противоположный ему, вывод и, кроме того, множество других выводов, не клеящихся ни с вашим, ни с противоположным ему выводом, ни друг с другом, имеют искренних защитников между умными и просвещенными людьми. То же самое в метафизике, то же самое в истории, без которой ни нравственные науки, ни метафизика не могут обойтись.

Такое положение дел в истории, нравственных науках и метафизике заставляет многих думать, что эти отрасли знания не дают или даже и вовсе не могут никогда дать нам ничего столь достоверного, как математика, астрономия и химия. Хорошо, что нам случилось употребить слово «бедность»: оно наводит нас на память о житейском факте, совершающемся ежедневно. Как только какой-нибудь господин или какая-нибудь госпожа из многочисленного семейства достигнет хорошего положения в обществе, он или она тотчас же начинает вытягивать из бедности, из ничтожества своих родственников и родственниц: около важного или богатого лица появляются братья и сестры, племянники и племянницы, все примыкают к нему и, держась за него, вылезают в люди. Припоминают родство свое с важным или богатым лицом даже такие господа и госпожи, которые не хотели и знаться с ним, пока оно было не важно и не богато. Иных оно в глубине души и недолюбливает, а все-таки помогает им, — нельзя, ведь все же родственники и родственницы, — и с любовью к родным или с досадой на них, оно все-таки изменяет их положение к лучшему. Точно такое же дело происходит в области знаний теперь, когда некоторые науки успели из жалкого положения выбиться до великого совершенства, до ученого богатства, до умственной знатности. Эти богачки, помогающие своим жалким родственницам, — математика и естественные науки. Математика была в хорошем положении давно, но чрезвычайно много времени было у ней занято заботою об одной ближайшей ее родственнице — астрономии. Тысячи четыре лет, если не больше, прошло в этой возне. Наконец во время Коперника астрономия была поставлена на ноги математикою, а с Ньютона она получила блистательное положение в умственном мире. Едва перестав сокрушаться день и ночь о бедственном состоянии своей сестры — астрономии, едва получив по некотором устройстве ее судьбы несколько свободы подумать о других родственницах, математика принялась помогать разным членам семейства, до сих пор остающегося в нераздельном владении родовым имуществом под именем физика: акустика, оптика и некоторые другие из сестер, носящих родовое имя физики, особенно воспользовались милостями математики; очень недурно стало положение и многих других членов той же многолюдной семьи. Дело тут шло уже гораздо быстрее, чем с выведением астрономии из жалкого положения: помогать другим математика уже выучилась, возившись с своею ближайшею родственницею, и, кроме того, хлопотала теперь уже не одна, а имела в ней хорошую адъютантку. Когда они вдвоем придали человеческий вид многочисленным особам семейства физики, пресмыкавшимся прежде в жалчайшей нищете и погрязавшим в гнуснейших научных пороках, математика уже имела в своем распоряжении целое племя, стала президентшею довольно большого и благоденствующего государства. В конце прошлого века это умственное государство было в таком же состоянии, как Соединенные Штаты в политическом мире около того же времени. Оба общества растут с той поры одинаково быстро. Чуть не каждый год прибавляется какая-нибудь новая область к молодому Северо-Американскому государству, становится из дикой пустыни цветущим штатом, и все дальше и дальше оттесняются просвещенным и деятельным народом жалкие племена, не хотящие принимать цивилизации, и все больше и больше захватывает он в свой союз другие племена, ищущие цивилизации, но не умевшие найти ее без его помощи: луизианские французы и испанцы Северной Мехики уже присоединились и в немногие годы уже прониклись духом нового общества, так что не отличить их от потомков Вашингтона и Джефферсона. Миллионы пьяных ирландцев и не менее жалких немцев стали в Союзе людьми порядочными и зажиточными. Так и союз точных наук под управлением математики, то есть счета, меры и веса, с каждым годом расширяется на новые области знания, увеличивается новыми пришельцами. После химии к нему постепенно присоединились все науки о растительных и животных организмах: физиология, сравнительная анатомия, разные отрасли ботаники и зоологии; теперь входят в него нравственные науки. С ними делается ныне то самое, что мы видим над людьми тщеславными, но погрязавшими в нищете и невежестве, когда какой-нибудь дальний родственник, не гордящийся, как они, высоким происхождением и неслыханными добродетелями, а просто человек простой и честный, приобретает богатство; кичливые гидальго долго усиливаются смотреть на него свысока, но бедность заставляет их пользоваться его подачками; долго они живут этой милостыней, считая низким для себя обратиться при его помощи к честному труду, которым он вышел в люди; но с улучшением их пищи и одежды пробуждаются в них мало-помалу рассудительные мысли, слабеет прежнее пустое хвастовство, они понемногу становятся людьми порядочными, понимают, наконец, что стыд не в труде, а в хвастовстве, и напоследок принимают нравы,

которыми вышел в люди их родственник; тогда, опираясь на его помощь, они быстро приобретают хорошее положение и начинают пользоваться уважением рассудительных людей не за фантастические достоинства, которыми прежде хвастались, не имея их, а за свои новые действительные качества, полезные для общества, — за свою трудовую деятельность.

Еще не так далеко от нас время, когда нравственные науки в самом деле не могли иметь содержания, которым бы оправдывался титул науки, им принадлежавший, и англичане были тогда совершенно правы, отняв у них это имя, которого они не были достойны. Теперь положение дел значительно изменилось. Естественные науки уже развились настолько, что дают много материалов для точного решения нравственных вопросов. Из мыслителей, занимающихся нравственными науками, все передовые люди стали разработывать их при помощи точных приемов, подобных тем, по каким разработываются естественные науки. Когда мы говорили о противоречиях между разными людьми по каждому нравственному вопросу, мы говорили только о давнишних, наиболее распространенных, но уже оказывающихся отсталыми, понятиях и способах исследования, а не о том характере, какой получают нравственные науки у передовых мыслителей; о прежнем, рутинном характере этих знаний, а не о нынешнем их виде. По нынешнему своему виду нравственные науки различаются от так называемых естественных, собственно, только тем, что начали разработываться истинно научным образом позже их, и потому разработаны еще не в таком совершенстве, как они. Тут разница лишь в степени: химия моложе астрономии и не достигла еще такого совершенства; физиология еще моложе химии и еще дальше от совершенства; психология, как точная наука, еще моложе физиологии и разработана еще меньше. Но различаясь между собою по количеству приобретенных точных знаний, химия и астрономия не различаются ни по достоверности того, что узнали, ни по способу, которым идут к точному знанию своих предметов: факты и законы, открываемые химиею, так же достоверны, как факты и законы, открываемые астрономиею. То же надобно сказать о результатах нынешних точных исследований в нравственных науках. Очерки предметов, даваемые астрономиею, физиологиею и психологиею, — это все равно, что карты Англии, Европейской России и Азиатской России. Англия вся снята превосходными тригонометрическими измерениями; в Европейской России тригонометрия покрыла своею сетью еще только половину пространства, другая половина снята способами, не столь совершенными; в Азиатской России остаются пространства, в которых только мимоездом определено положение нескольких главных пунктов, а все лежащее между ними наносится на карту по глазомеру, способу очень неудовлетворительному. Но тригонометрическая сеть с каждым годом растягивается все дальше и дальше, уже не очень далеко время, когда она охватит и Азиатскую Россию. А до той поры мы все-таки уже знаем об этой стране многое довольно хорошо, некоторые пункты даже очень хорошо, и всю ее уже знаем настолько, что легко открыть слишком грубые промахи в старинных картах ее; а если бы кто-нибудь вздумал нас уверять, что Иртыш течет к югу, а не к северу, или что Иркутск лежит под тропиками, мы только пожали бы плечами. Кому угодно, тот может и до сих пор повторять рассказы наших старинных космографии о народах предела Симова и о «немых языках», живущих за Печёрою, заклепанных в горах Александром Македонским и запертых синклитовыми воротами, не поддающимися ни огню, ни железу; но мы уже знаем, что надобно думать об этих рассказах, основанных только на фантазии.

Первым следствием вступления нравственных знаний в область точных наук было строгое различение того, что мы знаем, от того, чего не знаем. Астроном знает, что ему известна величина планеты Марса, и столь же положительно знает, что ему неизвестен геологический состав этой планеты, характер растительной или животной жизни на ней и самое то, существует ли на ней растительная или животная жизнь. Если бы кто-нибудь вздумал утверждать, что на Марсе находится глина или гранит, существуют птицы или моллюски, астроном сказал бы ему: вы утверждаете то, чего не знаете. Если бы фантазер зашел в своих предположениях дальше и сказал бы, например, что живущие на Марсе птицы не подвержены болезням, а моллюски не нуждаются в пище, астроном при помощи химика и физиолога доказал бы ему, что этого даже и быть не может. Точно так же и в нравственных науках теперь строго разграничено известное от неизвестного, и на основании известного доказана несостоятельность некоторых прежних предположений о том, что еще остается неизвестным. Положительно известно, например, что все явления нравственного мира проистекают одно из другого и из внешних обстоятельств по закону причинности, и на этом основании признано фальшивым всякое предположение о возникновении какого-нибудь явления, не произведенного предыдущими явлениями и внешними обстоятельствами. Поэтому нынешняя психология не допускает, например, таких предположений: «человек поступил в данном случае дурно, потому что захотел поступить дурно, а в другом случае хорошо, потому что захотел поступить хорошо». Она говорит, что дурной поступок или хороший поступок был произведен непременно

каким-нибудь нравственным или материальным фактом или сочетанием фактов, а «хотение» было тут только субъективным впечатлением, которым сопровождается в нашем сознании возникновение мыслей или поступков из предшествующих мыслей, поступков или внешних фактов. Самым обыкновенным примером действий, ни на чем не основанных, кроме нашей воли, представляется такой факт: я встаю с постели; на какую ногу я встану? захочу – на левую, захочу – на правую. Но это только так представляется поверхностному взгляду. На самом деле факты и впечатления производят то, на какую ногу встанет человек. Если нет никаких особенных обстоятельств и мыслей, он встает на ту ногу, на которую удобнее ему встать по анатомическому положению его тела на постели. Если явятся особенные побуждения, превосходящие своею силою это физиологическое удобство, результат изменится сообразно перемене обстоятельств. Если, например, в человеке явится мысль: «стану не на правую ногу, а на левую», он сделает это; но тут произошла только простая замена одной причины (физиологического удобства) другою причиною (мысль доказать свою независимость) или, лучше сказать, победа второй причины, более сильной, над первою. Но откуда явилась эта вторая причина, откуда явилась мысль показать свою независимость от внешних условий? Она не могла явиться без причины, она произведена или словами собеседника, или воспоминанием о прежнем споре, или чем-нибудь подобным. Таким образом тот факт, что человек, когда захочет, может ступить с постели не на т) ногу, на которую удобно ему ступить по анатомическому положению тела на постели, а на другую ногу, – этот факт свидетельствует вовсе не то, чтобы человек без всякой причины мог ступить на ту или другую ногу, а только то, что вставание с постели может совершаться под влиянием причин более сильных, чем влияние анатомического положения его тела перед актом вставания. То явление, которое мы называем волею, само является звеном в ряду явлений и фактов, соединенных причинною связью. Очень часто ближайшею причиною появления в нас воли на известный поступок бывает мысль. Но определенное расположение воли производится также только определенною мыслью: какова мысль, такова и воля; будь мысль не такова, была бы не такова и воля. Но почему же явилась именно такая, а не другая мысль? Опять от какой-нибудь мысли, от какого-нибудь факта, словом сказать, от какой-нибудь причины. Психология говорит в этом случае то же самое, что говорит в подобных случаях физика или химия: если произошло известное явление, то надобно искать ему причины, а не удовлетворяться пустым ответом: оно произошло само собою, без всякой особенной причины – «я так сделал, потому что так захотел». Прекрасно, но почему же вы так захотели? Если вы отвечаете: «просто, потому что захотел», это значит то же, что говорить: «тарелка разбилась, потому что разбилась; дом сгорел, потому что сгорел». Такие ответы – вовсе не ответы: ими только прикрывается леность доискиваться подлинной причины, недостаток желания знать истину.

Если при нынешнем состоянии химии кто-нибудь спросит, почему золото имеет желтый цвет, а серебро – белый, химики прямо отвечают, что до сих пор еще не знают этой причины, то есть еще не знают, в какой связи находится желтизна золота или белизна серебра с другими качествами этих металлов, по какому закону, от каких обстоятельств произошло, что вещество, принявшее форму золота или серебра, приобрело в этой форме качество производить на наш глаз впечатление желтизны или белизны. Это – прямой, честный ответ; но он, как видим, состоит просто в признании своего незнания. Богатому человеку легко сознаваться, что у него в данном случае не нашлось денег, но легко в этом сознаваться только тогда, когда все уверены, что он действительно богат; напротив, человеку, который хочет прослыть за богача, будучи в сущности беден, или человеку, кредит которого поколебался, не легко сказать, что у него в нынешнее время не случилось денег: он всяческими хитростями будет скрывать истину. Таково было до недавнего времени состояние нравственных наук: они стыдились говорить: у нас нет об этом достаточных знаний. Теперь, к счастию, не то: психология и нравственная философия выходят из прежней своей научной нищеты, у них уже больше запас богатства, и они прямо могут говорить: «мы еще не знаем этого», если действительно не знают.

Но если нравственные науки на очень многие вопросы должны еще отвечать теперь: «мы этого не знаем», то ошибемся мы, предположив, что к числу вопросов, остающихся для них неразрешенными ныне, принадлежат те вопросы, которые по одному из господствующих мнений признаются неразрешимыми. Нет, незнание этих наук совершенно не таково. Чего не знает, например, химия? Она не знает теперь, чем будет водород, перешедший из газообразного состояния в твердое, – металлом или неметаллом; есть сильная вероятность предполагать, что он будет металлом, но справедлива ли такая догадка, это еще неизвестно. Химия не знает также, действительно ли простое тело фосфор или сера, или они будут со временем разложены на простейшие элементы. Это – случаи теоретического незнания. Другой

род вопросов, не разрешимых для нее теперь, представляют многочисленные случаи неуменья исполнить практические требования. Химия умеет изготовлять синильную кислоту, уксусную кислоту, но изготовить фибрин она еще не умеет. Те и другие неразрешимые для нее ныне вопросы имеют, как видим, характер совершенно специальный, характер такой специальный, что и в голову они приходят только людям, уже порядочно знакомым с химией. Точно таковы же вопросы, остающиеся ныне еще не разрешенными для нравственных наук. Психология, например, открывает следующий факт: при слабом умственном развитии человек не в состоянии понимать жизни, различной от его собственной жизни; чем сильнее развивается его ум, тем легче ему бывает представлять себе жизнь, не похожую на его жизнь. Как объяснить этот факт? При нынешнем состоянии науки строго научного ответа еще не найдено, а существуют только разные догадки. Скажите теперь, кому из людей, не знакомых с нынешним состоянием психологии, приходил в голову такой вопрос? Почти никто, кроме ученых, даже не замечал и факта, к которому относится этот вопрос: это все равно, что вопрос о металличности или неметалличности водорода: люди, незнакомые с химией, не знают не только этого вопроса о водороде, но не знают и самого водорода. А для химии чрезвычайно важен этот водород, существование которого было бы незаметно без нее. Точно так для психологии чрезвычайно важен факт неспособности неразвитого человека и способности развитого понимать жизнь, различную от его жизни. Как открытие водорода повело к усовершенствованию химической теории, так и открытие этого психологического факта имело своим последствием построение теории антропоморфизма, без которой ни шагу теперь нельзя ступить в метафизике. Вот другой психологический вопрос, также не разрешимый точным образом при нынешнем состоянии науки: дети имеют наклонность ломать свои игрушки; отчего это происходит? Надобно ли считать эту ломку только неловкою формою желания пересоздавать вещи по своим надобностям, неловкою формою так называемой творческой деятельности человека, или тут есть след чистой наклонности к разрушению, приписываемой человеку некоторыми писателями? Таковы почти все теоретические вопросы, точного решения которых еще не дает наука. Читатель видит, что они принадлежат к разряду вопросов, надобность и важность которых открывается только наукою, понятна только для ученых, к разряду так называемых технических или специальных вопросов, которые вовсе не интересны для простых людей, часто кажутся им даже ничтожными. Это все вопросы вроде тех, из какого старославянского звука произошло у в слове «рука»: из простого у или из юса, и по какому закону образуется существительное «воз» из глагола «везу»: зачем тут буква е заменилась буквою о? Для филолога эти вопросы очень важны, а для нас, нефилологов, они, можно сказать, не существуют. Но не будем опрометчиво смеяться над учеными, которые заняты исследованием таких мелочных, по-видимому, вещей: от открытия истины в подобных, по-видимому, неважных фактах возникали результаты важные и для нас, простых людей: разъяснялись понятия о целом ряде важных фактов, изменялись важные житейские отношения. Из того, что некоторые люди разъяснили нашу фонетику открытием значения юсов, явилось более разумное обучение грамматике, и наших детей будут меньше мучить за нею, чем мучили нас, и будут лучше выучивать ей, чем выучивали нас.

Итак, теоретические вопросы, остающиеся неразрешенными при нынешнем состоянии нравственных наук, вообще таковы, что даже не приходят в голову почти никому, кроме специалистов; неспециалисте трудом понимает даже, как могут ученые люди заниматься исследованием таких мелочей. Напротив, те теоретические вопросы, которые обыкновенно представляются важными и трудными для неспециалистов, вообще перестали быть вопросами для нынешних мыслителей, потому что чрезвычайно легко разрешаются несомненным образом при первом прикосновении к ним могущественных средств научного анализа. Половина таких вопросов оказывается происходящими просто от непривычки к мышлению, другая половина находит себе ответ в явлениях, знакомых каждому. Куда девается пламя, носящееся над светильнею горящей свечи, когда мы гасим свечу? Неужели химик согласится назвать эти слова вопросом? Он просто называет их бессмысленным набором слов, возникающим из незнакомства с самыми коренными, самыми простыми фактами науки. Он говорит: горение свечи есть химический процесс; пламя есть одно из явлений этого процесса, одна из сторон его, одно из качеств его, выражаясь простым языком; когда мы гасим свечу, мы прекращаем химический процесс; само собою разумеется, что с его прекращением исчезают и его качества; спрашивать, что делается с пламенем свечи, когда гаснет свеча, значит то же самое, что спрашивать о том, что осталось от цифры 2 в числе 25, когда мы зачеркнем все число, — ровно ничего не осталось ни от цифры 2, ни от цифры 5: ведь они обе зачеркнуты; спрашивать это может только тот, кто сам не понимает, что значит написать цифру и что значит зачеркнуть ее; на все вопросы таких людей существует один ответ: друг мой! вы не имеете понятия об арифметике и сделаете хорошо, если станете учиться ей. Предлагается, например, очень головоломный вопрос: доброе или злое существо человек? Множество людей потеют

над разрешением этого вопроса, почти половина потеющих решает: человек по натуре добр; другие, составляющие также почти целую половину потеющих, решают иначе: человек по натуре зол. За исключением этих двух противоположных догматических партий, остаются несколько человек скептиков, которые смеются над теми и другими и решают: вопрос этот неразрешим. Но при первом приложении научного анализа вся штука оказывается простою до крайности. Человек любит приятное и не любит неприятного – это, кажется, не подлежит сомнению, потому что в сказуемом тут просто повторяется подлежащее. А есть А, приятное для человека есть приятное для человека, неприятное для человека есть неприятное для человека. Добр тот, кто делает хорошее для других, зол – кто делает дурное для других, – кажется, это также просто и ясно. Соединим теперь эти простые истины и в выводе получим: добрым человек бывает тогда, когда для получения приятного себе он должен делать приятное другим; злым бывает он тогда, когда принужден извлекать приятность себе из нанесения неприятности другим. Человеческой натуры нельзя тут ни бранить за одно, ни хвалить за другое; все зависит от обстоятельств, отношений . Если известные отношения имеют характер постоянства, в человеке, сформировавшемся под ними, оказывается сформировавшеюся привычка к сообразному с ними способу действий. Потому можно находить, что Иван добр, а Петр зол; но эти суждения прилагаются только к отдельным людям, а не к человеку вообще, как прилагаются только к отдельным людям, а не к человеку вообще понятия о привычке тесать доски, уметь ковать и т. д. Иван – плотник, но нельзя сказать, что такое человек вообще: плотник или не плотник; Петр умеет ковать железо, но нельзя сказать о человеке вообще, кузнец он или не кузнец. Тот факт, что Иван стал плотником, а Петр – кузнецом, показывает только, что при известных обстоятельствах, бывших в жизни Ивана, человек становится плотником; а при известных обстоятельствах, бывших в жизни Петра, становится кузнецом. Точно так при известных обстоятельствах человек становится добр, при других – зол.

Таким образом, с теоретической стороны вопрос о добрых и злых качествах человеческой натуры разрешается столь легко, что даже и не может быть назван вопросом: он сам в себе уже заключает полный ответ. Но другое дело, если вы возьмете практическую сторону дела, если, например, вам кажется, что для самого человека и для всех окружающих его людей гораздо лучше ему быть добрым, чем злым, и если вы захотели бы позаботиться, чтобы каждый стал добр: с этой стороны дело представляет очень большие трудности; но они, как заметит читатель, относятся уже не к науке, а только к практическому исполнению средств, указываемых наукой. Психология и нравственная философия находятся тут опять точно в таком же положении, как естественные науки. Климат в северной Сибири слишком холоден; если бы мы спросили, каким способом можно сделать его теплее, естественные науки не затруднятся ответом на это: Сибирь закрыта горами от теплой южной атмосферы и открыта своим склоном к северу холодной северной атмосфере: если бы горы шли по северной границе ее, а на южной не было гор, страна эта была бы гораздо теплее. Но у нас еще недостает средств исполнить на практике это теоретическое решение вопроса. Точно так же и у нравственных наук готов теоретический ответ почти на все вопросы, важные для жизни, но во многих случаях у людей недостает еще средств для практического исполнения того, что указывает теория. Впрочем, нравственные науки имеют в этом случае преимущество над естественными. В естественных науках все средства принадлежат области так называемой внешней природы; в нравственных науках только одна половина средств принадлежит этому разряду, а другая половина средств заключается в самом человеке; стало быть, половина дела зависит только от того, чтобы человек с достаточною силою почувствовал надобность в известном улучшении: это чувство уже дает ему очень значительную часть условий, нужных для улучшения. Но мы видели, что одних этих условий, зависящих от состояния впечатлений самого человека, еще недостаточно: нужны также материальные средства. Относительно этой половины условий, относительно материальных средств практические вопросы нравственных наук находятся в положении еще гораздо выгоднейшем, нежели относительно условий, лежащих в самом человеке. Прежде, при неразвитости естественных наук, могли встречаться во внешней природе непреодолимые затруднения к исполнению нравственных потребностей человека. Теперь не то: естественные науки уже предлагают ему столь сильные средства располагать внешнею природою, что затруднений в этом отношении не представляется. Возвратимся для примера к практическому вопросу о том, каким бы способом люди могли стать добрыми, так чтобы недобрые люди стали на свете чрезвычайной редкостью и чтобы злые качества потеряли всякую заметную важность в жизни по чрезвычайной малочисленности случаев, в которых обнаруживались бы людьми. Психология говорит; что самым изобильным источником обнаружения злых качеств служит недостаточность средств к удовлетворению потребностей, что человек поступает дурно, то есть вредит другим, почти только тогда, когда принужден лишить их чего-нибудь, чтобы не остаться

самому без вещи, для него нужной. Например, в случае неурожая, когда пищи недостаточно для всех, число преступлений и всяких дурных поступков чрезмерно возрастает: люди обижают и обманывают друг друга из-за куска хлеба. Психология прибавляет также, что человеческие потребности разделяются на чрезвычайно различные степени по своей силе; самая настоятельнейшая потребность каждого человеческого организма состоит в том, чтобы дышать; но предмет, нужный для ее удовлетворения, находится человеком почти во всех положениях в достаточном изобилии, потому из потребности воздуха почти никогда не возникает дурных поступков. Но если встретится исключительное положение, когда этого предмета оказывается мало для всех, то возникают также ссоры и обиды; например, если много людей будет заперто в душном помещении с одним окном, то почти всегда возникают ссоры и драки, могут даже совершаться убийства из-за приобретения места у этого окна. После потребности дышать (продолжает психология) самая настоятельная потребность человека — есть и пить. В предметах для порядочного удовлетворения этой потребности очень часто, очень у многих людей встречается недостаток, и он служит источником самого большего числа всех дурных поступков, почти всех положений и учреждений, бывающих постоянными причинами дурных поступков. Если бы устранить одну эту причину зла, быстро исчезло бы из человеческого общества, по крайней мере, девять десятых всего дурного: число преступлений уменьшилось бы в десять раз, грубые нравы и понятия в течение одного поколения заменились бы человечественными, отнялась бы и опора у стеснительных учреждений, основанных на грубости нравов и невежестве, и скоро уничтожилось бы почти всякое стеснение. Прежде исполнить такое указание теории было, как нас уверяют, невозможно по несовершенству технических искусств; не знаем, справедливо ли говорят это о старине, но бесспорно то, что при нынешнем состоянии механики и химии, при средствах, даваемых этими науками сельскому хозяйству, земля могла бы производить в каждой стране умеренного пояса несравненна больше пищи, чем сколько нужно для изобильного продовольствия числа жителей, в десять и двадцать раз большего, чем нынешнее население этой страны . Таким образом, со стороны внешней природы уже не представляется никакого препятствия к снабжению всего населения каждой цивилизованной страны изобильною пищею; задача остается только в том, чтобы люди сознали возможность и надобность энергически устремиться к этой цели. В реторическом слоге можно говорить, будто они на самом деле заботятся об этом как следует; но точный и холодный анализ науки показывает пустоту пышных фраз, часто слышимых нами об этом предмете. В действительности еще ни одно человеческое общество не приняло в сколько-нибудь обширном размере тех средств, какие указываются для придав ния успешности сельскому хозяйству естественными науками и наукою о народном благосостоянии. Отчего это происходит, почему в человеческих обществах господствует беззаботность об исполнении научных указаний для удовлетворения такой настоятельной потребности, как потребность пищи, почему это так, какими обстоятельствами и отношениями производится и поддерживается дурное хозяйство, как надобно изменить обстоятельства и отношения для замены дурного хозяйства хорошим, — это опять новые вопросы, теоретическое решение которых очень легко; и опять практическое осуществление научных решений обусловливается тем, чтобы человек проникся известными впечатлениями. Мы, впрочем, не станем здесь излагать ни теоретического решения, ни практических затруднений по этим вопросам; это завело бы нас слишком далеко, а нам кажется, что уже довольно и предыдущих замечаний для разъяснения того, в каком положении находятся теперь нравственные науки. Мы хотели сказать, что разработка нравственных знаний точным, научным образом только еще начинается; что поэтому еще не найдено точного теоретического решения очень многих чрезвычайно важных нравственных вопросов; но что эти вопросы, теоретическое решение которых еще не найдено, имеют характер чисто технический, так что интересны только для специалистов, и что, наоборот, те психологические и нравственные вопросы, которые представляются очень интересными и кажутся чрезвычайно трудными для неспециалистов, уже с точностью разрешены и притом разрешены чрезвычайно легко и просто, самыми первыми приложениями точного научного анализа, так что теоретический ответ на них уже найден; мы прибавляли, что из этих несомненных теоретических решений возникают очень важные и полезные научные указания о том, какие средства надобно употребить для улучшения человеческого быта; что из этих средств некоторые должны быть взяты во внешней природе, и при нынешнем развитии естественных знаний внешняя природа уже не представляет этого препятствия, а другие должны быть доставлены рассудительною энергиею самого человека, и ныне только в ее возбуждении могут встречаться трудности по невежеству и апатии людей и вообще по власти предрассудков над огромным большинством людей в каждом обществе.

Все эти рассуждения имели целью объяснить, каким образом нынешнее высокое

развитие естественных наук помогает возникновению точных наук по таким отраслям бытия и по таким отделам теоретических вопросов, которые прежде были только предметом догадок, иногда основательных, иногда неосновательных, но ни в каком случае не дававших точного знания. Таковы нравственные и метафизические вопросы. Ближайшим предметом наших статей служит теперь человек как отдельная личность, и мы попробуем изложить, какие решения вопросов, относящихся к этому предмету, найдены точною научною разработкою психологии и нравственной философии. Если читатель помнит характер нашей первой статьи, он, конечно, будет ожидать, что лишь только мы дали это обещание, как тотчас же изменим ему и вдадимся в длинное отступление, вовсе не идущее к делу. Читатель не ошибется. Мы отлагаем на время в сторону психологические и нравственно-философские вопросы о человеке, займемся физиологическими, медицинскими, какими вам угодно другими, и вовсе не будем касаться человека как существа нравственного, а попробуем прежде сказать, что мы знаем о нем как о существе, имеющем желудок и голову, кости, жилы, мускулы и нервы. Мы будем смотреть на него пока только с той стороны, какую находят в нем естественные науки; другими сторонами его жизни мы займемся после, если позволит нам время.

Физиология и медицина находят, что человеческий организм есть очень многосложная химическая комбинация, находящаяся в очень многосложном химическом процессе, называемом жизнью. Процесс этот так многосложен, а предмет его так важен для нас, что отрасль химии, занимающаяся его исследованием, удостоена за свою важность титула особенной науки и названа физиологиею. Отношение физиологии к химии можно сравнить с отношением отечественной истории к всеобщей истории. Разумеется, русская история составляет только часть всеобщей; но предмет этой части особенно близок нам, потому она сделана как будто особенною наукою: курс русской истории в учебных заведениях читается отдельно от курса всеобщей, воспитанники получают на экзаменах особенный балл из русской истории; но не следует забывать, что эта внешняя раздельность служит только для практического удобства, а не основана на теоретическом различии характера этой отрасли знания от других частей того же самого знания. Русская история понятна только в связи с всеобщею, объясняется ею и представляет только видоизменения тех же самых сил и явлений, о каких рассказывается во всеобщей истории. Так и физиология — только видоизменение химии, а предмет ее — только видоизменение предметов, рассматриваемых в химии. Сама физиология не удержала всех своих отделов в полном единстве под одним именем: некоторые стороны исследуемого ею предмета, то есть химического процесса, происходящего в человеческом организме, имеют такую особенную интересность для человека, что исследования о них, составляющие часть физиологии, сами удостоились имени особенных наук. Из этих сторон мы назовем одну: исследование явлений, производящих и сопровождающих разные уклонения этого химического процесса от нормального его вида; эта часть физиологии названа особенным именем — медицина; медицина в свою очередь разветвляется на множество наук с особенными именами. Таким образом часть, выделившаяся из химии, выделила из себя новые части, которые опять разделяются на новые части. Но это — явление точно того же порядка, как разделение одного города на кварталы, кварталов на улицы: это делается только для практического удобства, и не должно забывать, что все улицы и кварталы города составляют одно целое. Когда мы говорим: «Васильевский Остров» или «Невский проспект», мы вовсе не говорим, чтобы дома Васильевского Острова и Невского проспекта не входили в состав Петербурга. Точно так медицинские явления входят в систему физиологических явлений, а вся система физиологических явлений входит в еще обширнейшую систему химических явлений.

Когда исследуемый предмет очень многосложен, то для удобства исследования полезно делить его на части; потому физиология разделяет многосложный процесс, происходящий в живом человеческом организме, на несколько частей, из которых самые заметные: дыхание, питание, кровообращение, движение, ощущение; подобно всякому другому химическому процессу, вся эта система явлений имеет возникновение, возрастание, ослабление и конец. Поэтому физиология рассматривает, будто бы особые предметы, процессы дыхания, питания, кровообращения, движения, ощущения и т. д., зачатия, или оплодотворения, роста, дряхления и смерти. Но тут опять надобно помнить, что эти разные периоды процесса и разные стороны его разделяются только теориею, чтобы облегчить теоретический анализ, а в действительности составляют одно неразрывное целое. Так геометрия разлагает круг на окружность, радиусы и центр, но, в сущности, радиуса нет без центра и окружности, центра нет без радиуса и окружности, да и окружности нет без радиуса и центра, — эти три понятия, эти три части геометрического исследования о круге составляют все вместе одно целое. Некоторые, из частей физиологии разработаны уже очень хорошо; таковы, например, исследования процессов дыхания, питания, кровообращения, зачатия, роста и одряхления; процесс движения разъяснен еще не так подробно, а процесс ощущения —

еще меньше; довольно странно может показаться, что так же мало исследован процесс нормальной смерти, происходящей не от каких-нибудь чрезвычайных случаев или специальных расстройств (болезни), а просто от истощения организма самым течением жизни. Но это потому, во-первых, что наблюдениям медиков и физиологов представляется не очень много случаев такой смерти: из тысячи человек разве один умирает ею, организм остальных преждевременно разрушается болезнями и гибельными внешними случаями; во-вторых, и на эти немногие случаи нормальной смерти ученые до сих пор не имели досуга обратить такое внимание, какое привлекают болезни и случаи насильственной смерти: силы науки по вопросу о разрушении организма до сих пор поглощаются приисканием средств к устранению преждевременной смерти.

Мы сказали, что некоторые части процесса жизни еще не разъяснены так подробно, как другие; но из этого вовсе не следует, чтобы мы уже не знали положительным образом очень много и о тех частях его, исследование которых находится теперь даже в самом несовершенном виде. Во-первых, если даже предположить, что какая-нибудь сторона жизненного процесса в своей особенной специальности остается до сих пор и совершенно недоступною точному анализу в духе математики и естественных наук, то характер ее приблизительно был бы нам уже известен из характера других частей, которые уже довольно хорошо исследованы. Это был бы случай такого же рода, как определение вида головы млекопитающего по костям его ног: известно, что по одной какой-нибудь лопатке или ключице животного наука довольно точно воссоздает всю его фигуру и в том числе голову, так что, когда находится потом полный скелет, он подтверждает верность научного вывода о целом по одной его части. Мы знаем, в чем состоит, например, питание; из этого мы уже знаем приблизительно, в чем состоит, например, ощущение: питание и ощущение так тесно связаны между собою, что характером одного определяется характер другого. В прошлой статье мы уже говорили, что такие заключения о неизвестных частях по известным частям имеют и особенную достоверность, и особенную важность в отрицательной форме: А тесно связано с Х; А есть В; из этого следует, что Х не может быть ни С, ни D, ни Е. Например, найдена лопатка какого-то допотопного животного; к какому именно разряду млекопитающих оно принадлежало, этого, может быть, мы не сумеем определить безошибочно; быть может, ошибемся, если причислим его к породе кошек или лошадей; но уже по одной найденной нами лопатке мы безошибочно знаем, что оно не было ни птицею, ни рыбою, ни черепокожим. Мы сказали, что эти отрицательные выводы имеют большую важность во всех науках. Но в особенности они важны в нравственных науках и в метафизике, потому что уничтожаемые ими ошибки имели особенную практическую гибельность в этих науках. Если в старину, по плохому развитию естественных наук, ошибочно считали кита рыбой, а летучую мышь птицей, от этого, вероятно, не пострадал ни один человек; но от ошибок, имевших такой же источник, то есть происходивших от неумения подвергнуть предмет точному анализу, произошли в метафизике и в нравственных науках ошибочные мнения, наделавшие людям гораздо больше зла, чем холера, чума и все заразительные болезни. Сделаем, например, гипотезу, что праздность приятна, а труд неприятен; если эта гипотеза станет господствующим мнением, каждый человек будет пользоваться всеми случаями, чтобы обеспечить себе праздную жизнь, заставив других работать за себя; из этого произойдут все виды порабощения и грабежа, начиная от собственно так называемого рабства и от завоевательной войны до нынешних более тонких форм тех же явлений. Эта гипотеза действительно была сделана людьми, действительно стала господствующим мнением и действительно произвела страданий, . Теперь попробуем приложить к понятию приятности или удовольствия выводы из точного анализа жизненного процесса. Феномен приятности или удовольствия принадлежит той части жизненного процесса, которая называется ощущением. Предположим пока, что собственно об этой части жизненного процесса, как об отдельной части, еще нет у нас точных исследований. Посмотрим, нельзя ли чего-нибудь заключить о ней из тех точных сведений, какие приобрела наука о питании, дыхании, кровообращении. Мы видим, что каждое из этих явлений составляет деятельность некоторых частей нашего организма. Какие части действуют при феноменах дыхания, питания и кровообращения, это мы знаем; знаем и то, как они действуют; быть может, мы ошиблись бы, если бы стали из этих сведений делать выводы о том, какие именно части организма и каким именно образом действуют при феномене приятного ощущения; но мы уже прямо видели, что только деятельность какой-нибудь части организма дает возникновение тому, что называется явлениями человеческой жизни; мы видим, что когда есть Деятельность, то есть и феномен, а когда нет деятельности, то нет и феномена; из этого видим, что и для приятного ощущения непременно нужна какая-нибудь деятельность организма. Теперь анализируем понятие деятельности. Для деятельности необходимо существование двух предметов — действующего и подвергающегося действию, и деятельность состоит в том, что действующий предмет обращает свои силы на переработку предмета, подвергающегося действию. Например, грудь и легкие перемещают и разлагают воздух

при феномене дыхания, желудок переработывает пищу при феномене питания. Итак, приятное ощущение также должно непременно состоять в том, что силою человеческого организма переделывается какой-нибудь внешний предмет; какой именно предмет и каким именно способом переработывается, этого мы еще не знаем, но мы уже видим, что источником удовольствия непременно должна быть какая-нибудь деятельность человеческого организма над внешними предметами. Попробуем теперь сделать отрицательный вывод из этого результата. Праздность есть отсутствие деятельности; очевидно, что она не может производить феноменов так называемого приятного ощущения. Теперь становится нам совершенно понятно, почему во всех цивилизованных странах зажиточные классы общества жалуются на постоянную скуку, на неприятность жизни. Эта жалоба совершенно справедлива. Богачу так же неприятно жить, как и бедняку, потому что по обычаю, внесенному в общество ошибочною гипотезою, с богатством соединена праздность, — то есть вещи, которые должны были бы служить источником удовольствия, лишены этою гипотезою возможности составлять удовольствие. Кто привык к отвлеченному мышлению, тот вперед уверен, что наблюдение над житейскими отношениями не будет противоречить результатам научного анализа. Но и люди, непривычные к мышлению, будут приведены к такому же заключению соображением смысла тех фактов, которые представляет так называемая светская жизнь: в ней нет нормальной деятельности, то есть такой деятельности, в которой объективная сторона дела соответствовала бы субъективной его роли, нет деятельности, которая заслуживала бы имени серьезной деятельности; чтобы избежать субъективного расстройства в организме, избежать происходящих от неподвижности болезней, избежать тоски, светский человек принужден создавать себе взамен нормальной деятельности фиктивную: он лишен движения, имеющего объективную разумную цель, и потому «делает моцион», то есть убивает на пустое размахивание ногами столько же времени, сколько следовало употреблять на деловую ходьбу; он лишен физического труда и потому «занимается гимнастикой для гигиены», то есть машет руками и качается корпусом (за бильярдом, за токарным станком, если не в гимнастической зале) столько же времени, сколько следовало бы ему заниматься физической работой; он лишен дельных забот о себе и своих близких, потому занимается сплетнями и интригами, то есть хлопочет мысленно над вздором столько же, сколько следовало бы хлопотать о дельных вещах. Но все эти искусственные средства никак не могут доставить потребностям организма такого удовлетворения, какое нужно для здоровья. Жизнь проходит у нынешнего богача так, как идет она у китайца, курящего опиум: противоестественное раздражение сменяется летаргиею, напряженное пресыщение — пустою деятельностью, оставляя после себя все ту же пустую тоску, спасения от которой ищут в нем.

Мы видим, что если даже предположить совершенный недостаток точных исследований о какой-нибудь части жизненного процесса, как об отдельной специальной части, то нынешнее состояние точных знаний о других частях того же самого жизненного процесса уже дает нам приблизительное понятие об общем характере этой неизвестной части, дает нам прочную опору для важных положительных и для еще более важных отрицательных выводов о ней. Но, конечно, мы только для разъяснения дела, argumenti causa, предположили совершенное отсутствие точных исследований по некоторым частям жизненного процесса; на самом же деле нет ни одной части жизненного процесса, о которой наука не приобрела более или менее обширных и точных знаний, специально относящихся именно к этой части. Так, і например, мы знаем, что ощущение принадлежит известным нервам, движение — другим. Результатами этих специальных изысканий подтверждаются выводы, получаемые из общих наблюдений над целым жизненным процессом и над частями его, более исследованными. До сих пор мы говорили о физиологии как о науке, занимающейся исследованием жизненного процесса в человеческом организме. Но читатель знает, что физиология человеческого организма составляет только часть физиологии или, точнее сказать, часть одного ее отдела — зоологической физиологии. Заметив это, мы поправим ошибку, сделанную на предыдущих страницах: напрасно мы говорили, что феномены дыхания, питания и других частей жизненного процесса в человеке составляют предмет физиологии: предмет ее составляют явления этого процесса во всех живых существах. Физиология человека существует только в том смысле, в каком существует география Англии, в смысле одной главы из состава целой книги, — главы, которая может сама разрастаться в целую книгу.

Когда мы поверхностным образом обозреваем две страны, очень далекие по развитию одна от другой, страну дикарей и страну высокоцивилизованного народа, нам кажется, будто бы в одной из. них нет даже и следа тех явлений, какие поражают нас своим колоссальным размером в другой. В Англии мы видим Лондон и Манчестер, доки, наполненные пароходами, и железные дороги, а у каких-нибудь якутов нет, по-видимому, ничего соответствующего этим явлениям. Но загляните в основательное описание жизни якутов, и оно уже самым оглавлением своим наведет нас на мысль,

что поверхностное заключение наше было ошибочно; оглавление книги о якутах точно таково же, как оглавление книги об англичанах: почва и климат; способы добывания пищи; жилища; одежда; пути сообщения; торговля и т. д. Как? — спрашиваете вы себя:- неужели у якутов есть и пути сообщения, и торговля? Да, разумеется, есть, как и у англичан; разница только та, что у англичан эти явления общественной жизни сильно развиты, а у якутов они развиты слабо. У англичан есть Лондон, но и у якутов есть явления, возникающие из того же самого принципа, которым создан Лондон: на зиму якуты, бросая кочевую жизнь, поселяются в землянках; эти землянки вырыты по соседству одна от другой, так что составляют какую-то группу, — вот вам и зародыш города; в самой Англии дело началось с того же: зародыш Лондона была такая же группа таких же землянок. У англичан есть Манчестер с гигантскими машинами, которые называются бумагопрядильною фабрикою; но ведь и якуты не довольствуются звериными шкурами в их натуральном виде, они сшивают их, они делают из шерсти войлок, от валяния войлока уже недалеко до тканья, от иголки недалеко до веретена, а Манчестер составляется просто накоплением десятков миллионов веретен с удобною для них обстановкою; в работе якутского семейства над изготовлением одежды лежит уже зародыш Манчестера, как в якутской землянке — зародыш Лондона. Дело иного рода, насколько где развилось известное явление; но явления всех разрядов в разных степенях развития существуют у каждого народа. Зародыш один и тот же; он развивается повсюду по одним и тем же законам, только обстановка у него в разных местах различна, оттого различно и развитие: берлинский кислый виноград — тот же самый виноград, какой растет в Шампани и в Венгрии; только климат разный, потому с практической точки зрения можно говорить, что берлинский виноград, который ни на что не годится, вещь совершенно иного рода, чем виноград Токая или Эперне, из которого делают дивные вина; так, разница огромная, явная для всякого, но согласитесь, что ученые люди поступают справедливо, утверждая, что нет в токайском винограде таких элементов, которых не нашлось бы в берлинском винограде.

Нам нужно обозреть всю область природы, чтобы дойти до человека; а до сих пор мы говорили только о так называемой неорганической природе и о царстве растений, еще ничего не сказав о царстве животных. В наиболее развитых формах своих животный организм чрезвычайно отличается от растения; но читатель знает, что млекопитающее и птица связаны с растительным царством множеством переходных форм, по которым можно проследить все степени развития так называемой животной жизни из растительной: есть растения и животные, почти ничем не отличающиеся друг от друга, так что трудно сказать, к какому царству отнести их. Если некоторые животные почти ничем не отличаются от растений в эпоху полного развития своего организма, то в первое время своего существования все животные почти одинаковы с растениями в первой поре их роста; зародышем животного и растения одинаково служит ячейка; ячейка, служащая зародышем животного, так похожа на ячейку, служащую зародышем растения, что трудно и отличить их. Итак, мы видим, что все животные организмы начинают с того же самого, с чего начинает растение, и только впоследствии некоторые животные организмы приобретают вид очень различный от растений и в очень высокой степени проявляют такие качества, которые в растении так слабы, что открываются только при помощи научных пособий. Так, например, и в дереве есть зародыш движения: соки в нем движутся, как в животных; корни и ветви тянутся в разные стороны; правда, это перемещение происходит только в частях, а целый организм растения не переменяет места; но и полип также не переменяет места: полипняк способностью перемещения не превосходит дерево. Но есть даже и такие растения, которые переменяют свое место: сюда принадлежат некоторые виды семейства Mimosa.

Не надобно обижать никого; мы нанесли бы животным обиду, если бы, заметив, что они не должны считать себя существами иной природы, чем растения, понизив их на степень только особенной формы той же жизни, какая видна в растениях, не сказали несколько слов и в честь им. Действительно, научный анализ открывает несправедливость голословных фраз, будто животные вовсе лишены разных почетных качеств, как, например, некоторой способности к прогрессу. Обыкновенно говорят: животное всю жизнь остается тем, чем родилось, ничему не научается, нейдет вперед в умственном развитии. Такое мнение разрушается фактами, известными каждому: медведя научают плясать и выкидывать разные штуки, собак подавать поноску и танцевать; слонов даже выучивают ходить по канату, даже рыб приучают собираться в данное место по звонку, — этого всего обученные животные не делали без ученья; ученье дает им качества, которых без него не имели бы они. Не только человек учит животных — сами животные учат друг друга; известно, что хищные животные учат своих детей ловить добычу; птицы учат своих детей летать. Но, говорят нам, это наученье, это развитие имеет известный предел, дальше которого нейдет животное, так что каждая порода неподвижна в своем развитии, которое относится только к отдельным членам ее; отдельное животное может иметь свою

историю, но порода остается без истории, понимая под историею прогрессивное движение. Это также несправедливо; на наших глазах совершенствуются целые породы животных: например, улучшается порода лошадей или рогатого скота в известной стране. Человек имеет пользу от развития одних только экономических качеств животного: от увеличения силы у лошади, шерсти у овцы, молока и мяса у коровы и быка; потому мы и совершенствуем целые породы животных только в этих внешних качествах. Но все-таки из этого уже видно, что животные доступны развитию не только индивидуумами, а целыми породами. Этого одного факта было бы уже достаточно для несомненного заключения о том, что и умственные способности животных каждой породы не стоят неподвижно на одной данной точке, а также изменяются: естественные науки говорят, что причина, производящая перемену в мускулах, то есть изменение качеств крови, непременно производит некоторую перемену и в нервной системе; если при перемене в составе крови, питающей мускулы и нервы, изменяется питание мускулов, то должно изменяться и питание нервной системы; а при различии в питании непременно изменяются качества и действия питающейся части организма. Лошадь улучшенной породы непременно должна иметь впечатления несколько иные, чем простая лошадь: вы видите, что ее глаз блещет более живым огнем; это значит, что зрительный нерв ее восприимчивее, чувствительнее; если так изменился зрительный нерв, то произошла некоторая перемена и во всей нервной системе. Это вовсе не гипотеза, это — положительный факт, известный, например, из того, что жеребенок от домашней лошади, от благовоспитанной лошади, если можно так выразиться, гораздо скорее и легче приучается ходить в упряжи, чем жеребенок от табунной лошади, от дикой, невоспитанной лошади; это значит, что умственные способности у одного более развиты в известном отношении, чем у другого. Но тут дело идет для целей человека, а не для потребности самого животного; это развитие касается только низших сторон умственной жизни, как всякое развитие, налагаемое целями, посторонними самому развивающемуся. Гораздо яснее обнаруживается в животных способность к прогрессу, когда они развиваются по собственной надобности, по собственному побуждению. Наши домашние животные, привыкшие к своему рабству, развившись в тех отношениях, которые нужны для их господина, вообще поглупели от рабства. Они стали трусливы, ненаходчивы в непредвиденных обстоятельствах. Но, выходя на свободу, они возвращаются к находчивости и смелости вольного состояния. Одичавшие лошади приучаются защищаться от волков, приучаются выбивать траву из-под снега зимой. Дикие животные вообще умеют приспособляться к новым обстоятельствам: книги о нравах животных наполнены рассказами о том, как умеют приноровлять свою жизнь к новой обстановке осы, пауки и другие насекомые, посаженные под стеклянный колпак. Сначала насекомое пробует поступать по-прежнему; постепенные неудачи показывают ему неудовлетворительность прежнего метода, оно пробует новые методы, и если обстоятельства не губят его, оно, наконец, устраивает свою жизнь по новому способу. Медведь, нашедши бочонок с вином, умеет, наконец, догадаться, как выбить дно. Мы не станем приводить бесчисленных отдельных анекдотов о находчивости животных и заметим только один общий факт, относящийся к целым породам: при появлении человека в пустынной стране птицы еще не умеют остерегаться его; но постепенно опыт научает их быть осторожными, предусмотрительными относительно этого нового врага, и все породы дичи научаются обходиться с охотником умнее прежнего, избегать его, обманывать его.

Мы употребляли выражение «умственные способности», говоря о животных. В самом деле, нельзя отрицать в них ни памяти, ни воображения, ни мышления. О памяти нечего говорить: каждому известно, что нет ни одного млекопитающего, ни одной птицы без этой способности, и у некоторых пород она развита очень сильно; памятливость собаки чрезвычайно велика: она узнает человека, виденного ею очень давно, умеет находить дорогу в хозяйский дом из очень отдаленного места. Воображение непременно должно существовать, если есть память, потому что оно только соединяет в новые группы разные представления, хранимые памятью. Если существует нервная деятельность, то есть если происходит беспрерывная смена ощущений и впечатлений, то прежние представления непременно должны беспрестанно попадать в сочетания с новыми, а этот феномен уже и есть то самое, что называется воображением. Положительным образом существование фантазии в животном доказывается тем, что кошка видит сны: она во сне часто бывает похожа на лунатика: то сердится, то радуется. Впрочем, нет надобности слишком дорожить этим частным фактом, способностью кошки иметь сновидения: существование фантазии у животных обнаруживается другим, гораздо более общим фактом — расположением всех молодых животных забавляться посредством игры над внешними предметами, которые не могли бы служить предметом такой игры, если бы не представлялись играющему животному чем-то вроде кукол. Молодая кошка забавляется какой-нибудь

щепочкою или кусочком шерсти, как будто мышью: она бросает клочок шерсти, чтобы он как будто бежал, сама принимает подстерегающее положение, потом прыгает и ловит воображаемую мышь, — это прямо игра в куклы, только кукла тут имеет роль не жениха и невесты, не барышни и служанки, а роль мышки: что делать, каждое существо дает предметам такую роль, какая для него интересна.

Мышление состоит в том, чтобы из разных комбинаций ощущений и представлений, изготовляемых воображением при помощи памяти, выбирать такие, которые соответствуют потребности мыслящего организма в данную минуту, в выборе средств для действия, в выборе представлений, посредством которых можно было бы дойти до известного результата. В этом состоит не только мышление о житейских предметах, но и так называемое отвлеченное мышление. Возьмем в пример самое отвлеченное дело: решение математической задачи. У Ньютона, заинтересованного вопросом о законе качества или силы, проявляющейся в обращении небесных тел, накопилось в памяти очень много математических формул и астрономических данных. Чувства его (главным образом одно чувство — зрение) беспрестанно приобретали новые формулы и астрономические данные из чтения и собственных наблюдений; от сочетания этих новых впечатлений с прежними возникали в его голове разные комбинации, формулы цифр; его внимание останавливалось на тех, которые казались подходящими к его цели, соответствующими его потребности найти формулу данного явления; от обращения внимания на эти комбинации, то есть от усиления энергии в нервном процессе при их появлении, они развивались и разрастались, пока, наконец, разными сменами и превращениями их произведен был результат, к которому стремился нервный- процесс, то есть найдена была искомая формула. Это явление, то есть, сосредоточение нервного процесса на удовлетворяющих его желанию в данную минуту комбинациях ощущений и представлений, непременно должно происходить, как скоро существуют комбинации ощущений и представлений, иначе сказать — как скоро существует нервный процесс, который сам и состоит именно в ряде разных комбинаций ощущения и представления. Каждое существо, каждое явление разрастается, усиливается при появлении данных, удовлетворяющих его потребности, прилепляется к ним, питается ими, а собственно в этом и состоит то, что мы назвали выбором представлений и ощущений в мышлении; а в этом выборе их, в прилеплении к ним и состоит сущность мышления.

Само собою разумеется, что когда мы находим одинаковость теоретической формулы, посредством которой выражается процесс, происходивший в нервной системе Ньютона при открытии закона тяготения, и процесс того, что происходит в нервной системе курицы, отыскивающей овсяные зерна в куче сора и пыли, то не надобно забывать, что формула выражает собою только одинаковую сущность процесса, а вовсе не то, чтобы размер процесса был одинаков, чтобы одинаково было впечатление, производимое на людей явлениями этого процесса, или чтобы обе формы его могли производить одинаковый внешний результат. Мы говорили, например, в прошлой статье, что хотя трава и дуб растут по одному закону, из одних элементов, но все-таки трава никак не может производить таких действий, давать таких результатов, как дуб: из дуба человек может строить себе огромные дома и корабли, а из травы можно только маленькой птичке свить свое гнездо; или, например, в куче гнилушки происходит тот же самый процесс, как в печи громадной паровой машины; но куча гнилушки никого не перевезет и Москвы в Петербург, а паровик со своей печью перевозит тысячи людей и десятки тысяч пудов товаров. Муха летает тою же самою силою, по тому же самому закону, как орел; но, конечно, из этого не следует, чтобы она взлетала так высоко, как орел.

Говорят, будто бы животные не рассуждают. Это чистый вздор. Вы поднимаете палку на собаку, собака поджимает хвост и бежит от вас; отчего это? Оттого, что у ней в голове построился следующий силлогизм: когда меня бьют палкою, мне бывает неприятно; этот человек хочет побить меня палкою, итак, удалюсь от него, чтобы не получить болезненного ощущения от его палки. Смешно и слышать, когда говорят, будто собака в этом случае убежала только по инстикту, машинально, а не по рассуждению, не сознательно: нет, инстинкт, машинальность есть тут, но не все дело произошло инстинктивно, машинально: по инстинкту, по машинальной привычке собака поджала хвост, когда добежала от вас, а побежала она по сознательной мысли. В действиях каждого живого существа есть сторона бессознательной привычки или бессознательного движения органов; но это не мешает участию сознательной мысли в том действии, которое сопровождается и некоторыми движениями, происходящими бессознательно. Когда человек испугается, мускулы его лица бессознательно, инстинктивно принимают выражение испуга; но тем не менее происходит в голове этого человека другая часть явления, принадлежащая области сознания: он сознает, что он испуган, он сознает, что сделал движение, выражающее испуг; от этой сознательной стороны ^факта происходят новые последствия: человек, может быть, постыдится себя за то, что испугался, может быть, примет меры к обороне от испугавшего предмета, а может быть, поспешит

удалиться от него.

Но мы забыли: ведь говорят, что у животных нет сознания, что они не сознают своих ощущений, своих мыслей, умозаключений, а только имеют их. Каким образом понять это, каким образом могут понимать эти слова сами те люди, которые говорят их, всегда было для нас загадкою. Не сознавать своего ощущения — скажите, есть ли смысл в этой фразе? Скажите, каким образом можно составить себе отчетливое представление о комбинации понятий, которую хочет она возбудить? Ощущением ведь именно и называется такое явление, которое чувствуется; иметь бессознательное ощущение значило бы иметь нечувствуемое чувство, значило бы то же самое, что видеть невидимый предмет или, по знаменитому выражению, «слышать молчание». Есть очень много выражений совершенно бессмысленных, составленных из сочетания слов, соответствующих неклеящимся между собою понятиям; произносить их каждый может, но каждый, кто произносит их, тем самым свидетельствует, что или сам не понимает, что говорит, или хочет шарлатанить. Говорят, например, «невесомая жидкость»; но что такое жидкость какая бы то ни была? Она все-таки тело, все-таки нечто материальное; всякое вещество имеет свойство, называемое притяжением или тяготением, состоящее в том, что каждая частичка материи притягивает к себе другие частицы и сама притягивается ими; на земле это свойство обнаруживается весом, то есть тяготением к центру земли; итак, всякая жидкость непременно имеет вес, а «невесомая жидкость» — бессмысленное сочетание звуков, вроде выражений: синий звук, сахарная селитра и т. п. Если в физике так долго употреблялось бессмысленное выражение «невесомая жидкость», то неудивительно изобилие подобных выражений в психологии, которая разработана меньше физики; научный анализ показывает вздорность их, и одна из сторон развития науки состоит в том, чтобы отбрасывать их.

Еще забавнее становится пустая гипотеза об отсутствии сознания в животных, когда принимает какой-то нелепо возвышенный тон, подразделяя феномен сознания на два разряда: простое сознание и самосознание, говоря, что животные имеют простое сознание, а самосознания не имеют. Тут дело доходит до такой мудрости, с которой может сравниться лишь следующая дистинкция ; скрипка издает только синий звук, а самосинего звука издавать не может, его издает виолончель. Кто поймет этот тонкий вывод о качествах звука скрипки и виолончели, для того будет совершенно ясно, что ощущение в животных сопровождается сознанием, но не сопровождается самосознанием, — иначе сказать, что животные имеют ощущение о внешних предметах, но не чувствуют, что имеют ощущение, — иначе сказать, имеют чувства, которых не чувствуют. После этого следует заключить, вероятно, животные едят зубами, которыми не едят, ходят ногами, которыми не ходят. Теперь для нас очевидно существование птичьего молока: птицы имеют молоко, которого не имеют; так как они его имеют, то оно существует, а так как они его не имеют, то простонародная поговорка справедливо полагает, что достать его нигде нельзя. Кто убежден в справедливости всех этих столь основательных мнений, тому остается только просидеть Иванову ночь над папоротником, и он получит цветок-невидимку.

Прикоснемся точным анализом к факту ощущения, и вся фантасмагория исчезает от первого прикосновения. Ощущение по самой натуре своей непременно предполагает существование двух элементов мысли, связанных в одну мысль: во-первых, тут есть внешний предмет, производящий ощущение; во-вторых, существо, чувствующее, что в нем происходит ощущение; чувствуя свое ощущение, оно чувствует известное свое состояние; а когда чувствуется состояние какого-нибудь предмета, то, разумеется, чувствуется и самый предмет. Например, я чувствую боль в левой руке; вместе с этим я чувствую и то, что у меня есть правая рука; вместе с этим я чувствую, что существую я, часть которого составляет эта левая рука, и, по всей вероятности, чувствую также, что эта рука болит у меня; или я не чувствую, что она болит у меня? или, когда я чувствую боль в руке, то я чувствую, что рука болит не у меня, а у какого-нибудь китайца в Кантоне? Не смешно ли рассуждать о подобных вещах, рассуждать о том, солнце ли есть солнце, рука ли есть рука, и о тому подобных мудреных задачах?

Чем отличается Ротшильд от бедняка? тем ли, что двугривенный в кармане бедняка есть простое серебро, а груды серебряной монеты, лежащие в подвалах Ротшильда, вычеканены из самосеребра, которое гораздо лучше серебра? Если бы Ротшильд был человек не богатый, а только тщеславный, он мог бы придумывать подобные вздоры в доказательство своего превосходства над бедняком. Но, как человек действительно богатый, он не имеет надобности в таких вздорных фантазиях и прямо говорит бедняку: «мое серебро точно такое же, как ваше; но у вас его один золотник, а у меня много тысяч пудов; потому-то, измеряя богатством право на уважение, я нахожу себя заслуживающим гораздо большего уважения, чем вы».

Говорят также, будто бы у животных нет тех чувств, которые называются возвышенными, бескорыстными, идеальными. Надобно ли замечать совершенную

несообразность такого мнения с общеизвестными фактами? Привязанность собаки вошла в пословицу; лошадь проникнута честолюбием до того, что когда разгорячится, обгоняя другую лошадь, то уже не нуждается в хлысте и шпорах, а только в удилах: она готова надорвать себя, бежать до того, чтобы упасть замертво, лишь бы обогнать соперницу. Нам говорят, будто бы животные знают только кровное родство, а не знают родства, основанного на возвышенном чувстве благорасположения. Но наседка, высидевшая цыплят из яиц, снесенных другою курицею, не имеет с этими цыплятами никакого кровного родства: ни одна частичка из ее организма не находится в составе организма этих цыплят. Однако же мы видим, что в заботливости курицы о цыплятах не бывает никакого различия от того обстоятельства, свои или чужие яйца высидела наседка. На чем же основана ее заботливость о цыплятах, высиженных ею из яиц другой курицы? На том факте, что она высидела их, на том факте, что она помогает им делаться курами и петухами, хорошими, здоровыми петухами и курами. Она любит их, как нянька, как гувернантка, воспитательница, благодетельница их. Она любит их потому, что положила в них часть своего нравственного существа — не материального существа, нет, в них нет ни частички ее крови, — нет, в них она любит результат своей заботливости, своей доброты, своего благоразумия, своей опытности в куриных делах; это — отношение чисто нравственное.

Вообще замечают, что дети, достигшие совершеннолетия, гораздо менее привязаны к родителям, чем родители к детям. Главное основание этого факта открыть очень легко: человек любит прежде всего сам себя. Родители видят в детях результат своих забот о них, а дети ничем не участвовали в воспитании родителей, не могут видеть в них результат своей деятельности. При нынешнем устройстве общества нравственные отношения совершеннолетних детей к родителям состоят почти только в том, чтобы содержать их на старости, да и эту обязанность исполняли бы очень немногие дети по собственному влечению, если бы не принуждались к ее исполнению тем чувством повиновения общественному мнению, которое принуждает их вообще не держать себя неприличным образом, не возбуждать своими действиями общего негодования. В тех породах животных, которые не составляют обществ, конечно, нет и общественных отношений, вынуждающих исполнение подобного дела. Мы не знаем, как проводят свое дряхлое время жаворонки, ласточки, кроты и лисицы. Их жизнь так не обеспечена, что, по всей вероятности, очень немногие из этих животных доживают до дряхлости: вероятно, они скоро делаются добычею других животных, когда ослабевает в них сила улетать, убегать или защищаться. Говорят, что едва ли хотя одна рыба умирает естественной смертью, не бывает пожрана другими рыбами. То же надобно думать о большей части диких птиц и млекопитающих. Те немногие индивидуумы, которые доживают до дряхлости, вероятно, умирают от голода несколькими часами или днями раньше, чем могли бы умереть, имея подле себя пищу. Но из этого забвения их детей о дряхлых отцах и матерях не будем выводить слишком резкого суждения об отсутствии детской привязанности между животными: мы тут обязаны быть снисходительными, потому что наше суждение об этом предмете почти вполне применилось бы и к людям.

Когда говоришь без всякого плана, сам не отгадаешь, куда приведет тебя речь. Вот мы видим теперь, что договорились до нравственных или возвышенных чувств. По вопросу об этих чувствах практические выводы из обыкновенного житейского опыта совершенно противоречили старинным гипотезам, приписывавшим человеку множество разных бескорыстных стремлений. Люди видели по опыту, что каждый человек думает все только о себе самом, заботится о своих выгодах больше, нежели о чужих, почти всегда приносит выгоды, честь и жизнь других в жертву своему расчету, — словом сказать, каждый из людей видел, что все люди — эгоисты. В практических делах все рассудительные люди всегда руководились убеждением, что эгоизм — единственное побуждение, управляющее действиями каждого, с кем имеют они дело. Если бы это мнение, ежедневно подтверждаемое опытом каждого из нас, не имело против себя довольно большого числа других житейских фактов, оно, конечно, скоро одержало бы верх и в теории над гипотезами, утверждавшими, что эгоизм есть только испорченность сердца, а неиспорченный человек руководится побуждениями, противоположными эгоизму: думает о благе других, а не о своем, готов жертвовать собою для других и т. д. Но вот именно в том и состояло затруднение, что гипотеза о бескорыстном стремлении человека служить чужому лагу, опровергаемая сотнями ежедневных опытов каждого, по-видимому, подтверждалась довольно многочисленными фактами бескорыстия, самопожертвования и т. д.: там Курций бросается в пропасть, чтобы спасти родной город, тут Эмпедокл бросается в кратер, чтобы сделать ученое открытие, тут Дамон спешит на казнь, чтобы спасти Пифиаса, тут поражает себя кинжалом Лукреция, чтобы восстановить свою честь. До недавнего времени не было научных средств точным образом вывести оба эти разряда явлений из одного принципа, подвести под один закон факты, противоположные между собою. Камень падает на землю, пар летит вверх, и в старину думали, что закон

тяжести, действующий в камне, не действует над паром. Теперь известно, что оба эти движения, происходящие по противоположным направлениям, падение камня на землю и поднятие пара вверх от земли, — происходят от одной причины, по одному закону. Теперь известно, что сила притяжения, вообще стремящая тела вниз, обнаруживается при известных обстоятельствах тем, что заставляет некоторые тела подниматься вверх. Много раз мы говорили, что нравственные науки еще не разработаны с такой полнотою, как естественные; но и при нынешнем, вовсе не блистательном их состоянии уже разрешен вопрос о подведении всех часто разноречащих между собою человеческих поступков и чувств под один принцип, как разрешены вообще почти все те нравственные и метафизические вопросы, в которых путались люди до начала разработки нравственных наук и метафизики по строгому научному методу. В побуждениях человека, как и во всех сторонах его жизни, нет двух различных натур, двух основных законов, различных или противоположных между собою, а все разнообразие явления в сфере человеческих побуждений к действованию, как и во всей человеческой жизни, происходит из одной и той же натуры, по одному и тому же закону.

Мы не станем говорить о тех действиях и чувствах, которые всеми признаются за эгоистические, своекорыстные, происходящие из личного расчета; обратим внимание только на те чувства и поступки, которые представляются имеющими противоположный характер: вообще надобно бывает только всмотреться попристальнее в поступок или чувство, представляющиеся бескорыстными, и мы увидим, что в основе их все-таки лежит та же мысль о собственной личной пользе, личном удовольствии, личном благе, лежит чувство, называемое эгоизмом. Очень мало найдется случаев, когда эта основа сама не напрашивалась бы на замечание Даже человеку, не очень привычному к психологическому анализу. Если муж и жена жили между собою хорошо, жена совершенно искренно и очень глубоко печалится о смерти мужа, но только вслушайтесь в слова, которыми выражается ее печаль: «на кого ты меня покинул? что я буду без тебя делать? без тебя <мне> тошно жить на свете!» Подчеркните эти слова «меня, я, мне»: в них — смысл жалобы, в них — основа печали. Возьмем чувство еще гораздо высшее, чистейшее, чем самая высокая супружеская любовь: чувство матери к ребенку. Ее плач о его смерти точно таков же: «Ангел мой! Как я тебя любила! Как я любовалась на тебя, ухаживала за тобою! Скольких страданий, скольких бессонных ночей ты стоил мне! Погибла в тебе моя надежда, отнята у меня всякая радость!» И тут опять все то же: «я, мое, у меня». Столь же легко открывается эгоистическая основа в самой искренней и нежной дружбе. Не многим затруднительнее те случаи, в которых человек приносит жертву для любимого предмета; хотя бы он жертвовал для него самою жизнью, все-таки основанием пожертвования служит личный расчет или страстный порыв эгоизма. О большей части случаев так называемого самопожертвования не стоит говорить как о самопожертвовании: им неприлично это имя. Жители Сагунта перерезались, чтобы не отдаться живыми в руки Аннибала, геройство, достойное удивления, но совершенно одобряемое эгоистическим расчетом; они привыкли жить свободными гражданами, не терпеть никаких обид, уважать себя и видеть уважение от других; карфагенский полководец продал бы их в рабство, их жизнь была бы рядом несноснейших мучений; они поступили в том же роде, как делает человек, вырывающий у себя больной зуб: они предпочли одну минуту страшной смертельной муки нескончаемым годам мучений; в средние века еретики, сжигаемые медленным огнем на кострах из сырого леса, старались разорвать свои цепи, чтобы броситься в пламя: легче задохнуться в одну минуту, чем терпеть задушение несколько часов. Действительно таково было положение жителей Сагунта. Мы напрасно предположили, что Аннибал удовольствовался бы обращением их в рабство: они все равно были бы истреблены если не своими, то карфагенскими руками, но карфагеняне стали бы долго мучить их варварскими пытками, и здравый расчет их справедливо предпочел легкую и быструю смерть медленной и тяжелой. Лукреция закололась, когда ее осквернил Секст Тарквиний: она также поступила очень расчетливо; что ожидало ее впереди? Муж мог бы наговорить ей много успокоительных и ласковых слов, но ведь все подобные слова чистый вздор, свидетельствующий о благородстве говорящего их, но нисколько не изменяющий непременных последствий дела. Коллатин мог сказать жене: я считаю тебя чистой и люблю тебя по-прежнему; но при тогдашних понятиях, слишком мало изменившихся до сих пор, он не в силах был оправдать своих слов делом: волею или неволею, но он уже потерял очень значительную часть прежнего уважения, прежней любви к жене; он мог прикрывать эту потерю преднамеренным увеличением нежности в обращении с нею; но такого рода нежность обиднее холодности, горьче побоев и ругательств. Лукреция справедливо нашла, что лишиться жизни составляет гораздо меньшую неприятность, чем жить в положении унизительном по сравнению с тем, к какому она привыкла. Чистоплотный человек охотнее будет терпеть голод, чем прикоснется к пище, оскверненной какою-нибудь гадостью; для человека, привыкшего уважать себя, смерть гораздо легче унижения.

Читатель понимает, что мы говорим все это вовсе не к уменьшению великой похвалы, какой достойны жители Сагунта и Лукреция: доказывать, что геройский поступок был вместе умным поступком, что благородное дело не было безрассудным делом, вовсе еще не значит, по нашему мнению, отнимать цену у геройства и благородства. От этих геройских дел перейдем к образу действий более обыкновенному, хотя все еще слишком редкому; разберем такие случаи, как преданность человека, отказывающегося от всяких удовольствий, от всякой свободы в распоряжении своим временем для того, чтобы ухаживать за другим человеком, нуждающимся в его заботливости. Друг, проводящий целые недели у постели больного друга, делает пожертвование гораздо более тяжелое, чем если бы отдавал ему все свои деньги. Но почему он приносит такую великую жертву и в пользу какого чувства он приносит ее? Он приносит свое время, свою свободу в жертву своему чувству дружбы, — заметим же, своему чувству; оно развилось в нем так сильно, что, удовлетворяя его, он получает большую приятность, чем получил бы от всяких других удовольствий и от самой свободы; а нарушая его, оставляя без удовлетворения, чувствовал бы больше неприятности, чем сколько получает от стеснения себя во всех других потребностях. Точно таковы же случаи, когда человек отказывается от всяких наслаждений и выгод для служения науке или какому-нибудь убеждению. Ньютон и Лейбниц, отказавшие себе во всякой любви к женщине, чтобы нераздельно отдавать все свое время, все свои мысли ученым исследованиям, конечно, совершали всю свою жизнь очень высокий подвиг. Точно то же надобно сказать о политических деятелях, называемых обыкновенно фанатиками. Тут опять мы видим, что известная потребность развилась в человеке так сильно, что удовлетворять ей приятно для него даже с пожертвованием другими очень сильными потребностями. По своему предмету эти случаи очень резко отличаются от тех фактов расчета, в которых человек жертвует очень большою суммой денег для удовлетворения какой-нибудь низкой страсти, но по теоретической формуле все они подходят под один закон: сильнейшая страсть берет верх над влечениями менее сильными и приносит их в жертву себе.

При внимательном исследовании побуждений, руководящих людьми, оказывается, что все дела, хорошие и дурные, благородные и низкие, геройские, и малодушные, происходят во всех людях из одного источника: человек поступает так, как приятнее ему поступать, руководится расчетом, велящим отказываться от меньшей выгоды или меньшего удовольствия для получения большей выгоды, большего удовольствия. Конечно, этою одинаковостью причины, из которой происходят дурные и хорошие дела, вовсе не уменьшается разница между ними: мы знаем, что алмаз и уголь — все один и тот же чистый углерод, но тем не менее алмаз есть алмаз, вещь чрезвычайно драгоценная, а уголь — все-таки уголь, вещь очень малоценная. Великая разница между добрым и злым заслуживает полного нашего внимания. Мы начнем с анализа этих понятий, чтобы увидеть, какими обстоятельствами развивается или ослабляется добро в человеческой жизни.

Очень давно было замечено, что различные люди в одном обществе называют добрым, хорошим вещи совершенно различные, даже противоположные. Если, например, кто-нибудь отказывает свое наследство посторонним людям, эти люди находят его поступок добрым, а родственники, потерявшие наследство, очень дурным. Такая же разница между понятиями о добре в разных обществах и в разные эпохи в одном обществе. Из этого очень долго выводилось заключение, что понятие добра не имеет в себе ничего постоянного, самостоятельного, подлежащего общему определению, а есть понятие чисто условное, зависящее от мнений, от произвола людей. Но точнее всматриваясь в отношения поступков, называемых добрыми, к тем людям, которые дают им такое название, мы находим, что всегда есть в этом отношении одна общая, непременная черта, от которой и происходит причисление поступка к разряду добрых. Почему посторонние люди, получившие наследство, называют добрым делом акт, давший им это имущество? Потому, что этот акт был для них полезен. Напротив, он был вреден родственникам завещателя, лишенным наследства, потому они называют его дурным делом. Война против неверных для распространения мусульманства казалась добрым делом для магометан, потому что приносила им пользу, давала им добычу; в особенности поддерживали между ними это мнение духовные сановники, власть которых расширялась от завоеваний. Отдельный человек называет добрыми поступками те дела других людей, которые полезны для него; в мнении общества добром признается то, что полезно для всего общества или для большинства его членов; наконец, люди вообще, без различия наций и сословий, называют добром то, что полезно для человека вообще. Очень часты случаи, в которых интересы разных наций и сословий противоположны между собою или с общими человеческими интересами; столь же часты случаи, в которых выгоды какого-нибудь отдельного сословия противоположны национальному интересу. Во всех этих случаях возникает спор о характере поступка, учреждения или отношения, выгодного для

одних, вредного для других интересов: приверженцы той стороны, для которой он вреден, называют его дурным, злым; защитники интересов, получающих от него пользу, называют его хорошим, добрым. На чьей стороне бывает в таких случаях теоретическая справедливость, решить очень не трудно: общечеловеческий интерес стоит выше выгод отдельной нации, общий интерес целой нации стоит выше выгод отдельного сословия, интерес многочисленного сословия выше выгод малочисленного. В теории эта градация не подлежит никакому сомнению, она составляет только применение геометрических аксиом – «целое больше своей части», «большее количество больше меньшего количества» – к общественным вопросам. Теоретическая ложь непременно ведет к практическому вреду; те случаи, в которых отдельная нация попирает для своей выгоды общечеловеческие интересы или отдельное сословие – интересы целой нации, всегда оказываются в результате вредными не только для стороны, интересы которой были нарушены, но и для той стороны, которая думала доставить себе выгоду их нарушением: всегда оказывается, что нация губит сама себя, порабощая человечество, что отдельное сословие приводит себя к дурному концу, принося в жертву себе целый народ. Из этого мы видим, что при столкновениях национального интереса с сословным, сословие, думающее извлечь пользу себе из народного вреда, с самого начала ошибается, ослепляется фальшивым расчетом. Иллюзия, которою оно увлекается, имеет иногда вид очень основательного расчета; но мы приведем два или три случая этого рода, чтобы показать, как ошибочен бывает такой расчет. Мануфактуристы думают, что запретительный тариф выгоден для них; но в результате оказывается, что при запретительном тарифе нация остается бедна и по своей бедности не может содержать мануфактурную промышленность обширного размера; таким образом самое сословие мануфактуристов остается далеко не столь богато, как бывает при свободной торговле; все фабриканты всех государств с запретительным тарифом, вместе взятые, конечно, не имеют и половины того богатства, какое приобрели фабриканты Манчестера. Землевладельцы вообще думают иметь выгоду от невольничества и других видов обязательного труда; но в результате оказывается, что землевладельческое сословие всех государств, имеющих несвободный труд, находится в разоренном положении. Мы привели такие случаи, в которых расчет отдельного сословия вредить для своей выгоды общему национальному интересу имеет, по-видимому, чрезвычайно твердое основание; но и тут результат показывает, что основание только казалось твердым, а в сущности было неверно; что сословие, вредившее народу, само обманывалось относительно своих выгод. Это не может и быть иначе: французский или австрийский мануфактурист – все-таки француз или житель Австрии, и все то, что вредно для государства, к которому он принадлежит, сила которого служит опорою его силы, богатство которого служит опорою его богатства, – все это послужит во вред и ему самому, иссушая источники его силы и богатства. Точно то же надобно сказать о случаях противоположности между интересами отдельной нации и общим человечественным благом: и тут всегда оказывается, что совершенно ошибочен был расчет нации, думавшей извлечь себе пользу из нанесения вреда человечеству. Завоевательные народы всегда кончали тем, что истреблялись и порабощались сами. Монголы Чингисхана жили в своих степях такими бедными дикарями, что, по-видимому, трудно было им прийти в положение, худшее прежнего; но как ни дурно было состояние диких орд, пошедших на завоевание земледельческих государств южной и западной Азии и восточной Европы, а все-таки вскоре по совершении завоевания эти несчастные люди, наделавшие столько вреда другим для своего обогащения, подверглись судьбе более плачевной, чем даже та жалкая жизнь, которую продолжали вести их соотечественники, оставшиеся в своих родных степях. Мы знаем, чем кончили татары Золотой орды: конечно, целая половина их погибла при завоевании России и при неудачных нашествиях на Литву и Моравию; остальная половина, сначала награбившая себе много добычи, скоро была истреблена оправившимися русскими. Ученые доказывают, что из нынешних крымских, казанских и оренбургских татар едва ли есть хоть один человек, происходящий от воинов Батыя, что нынешние татары – потомки прежних племен, живших в тех местах до Батыя и покоренных Батыем, как были покорены русские; и что пришельцы – завоеватели – все исчезли, все были истреблены ожесточением порабощенных. Германцы при Таците жили не многим лучше монголов до Чингисхана; но и они мало выиграли от завоевания Римской империи. Ост-готы, лангобарды, герулы, вандалы – все погибли до последнего человека. От вест-готов осталось имя, но только имя; франков не успели перерезать порабощенные ими племена только потому, что франки перерезались сами при Меровингах. Испанцы, опустошив Европу при Карле V и Филиппе II, сами разорились, впали в рабство и наполовину вымерли от голода. Французы, опустошив Европу при Наполеоне I, сами подверглись завоеванию и разорению в 1814 и 1815 годах.

Все это мы говорили к тому, чтобы показать, что понятие добра вовсе не

расшатывается, а, напротив, укрепляется, определяется самым резким и точным образом, когда мы открываем его истинную натуру, когда мы находим, что добро есть польза. Только при этом понятии о нем мы в состоянии разрешить все затруднения, возникающие из разноречия разных эпох и цивилизаций, разных сословий и народов о том, что добро, что зло. Наука говорит о народе, а не об отдельных индивидуумах, о человеке, а не французе или англичанине, не купце или бюрократе. Только то, что составляет натуру человека, признается в науке за истину; только то, что полезно для человека вообще, признается за истинное добро; всякое уклонение понятий известного народа или сословия от этой нормы составляет ошибку, галлюцинацию, которая может наделать много вреда другим людям, но больше всех наделает вреда тому народу, тому сословию, которое подверглось ей, заняв по своей или чужой вине такое положение среди других народов, среди других сословий, что стало казаться выгодным ему то, что вредно для человека вообще. «Погибоша аки Обре» – эти слова повторяет история над каждым народом, над каждым сословием, впавшим в гибельную для таких людей галлюцинацию о противоположности своих выгод с общечеловеческим интересом.

Если есть какая-нибудь разница между добром и пользою, она заключается разве лишь в том, что понятие добра очень сильным образом выставляет черту постоянства, прочности, плодотворности, изобилия хорошими, долговременными и многочисленными результатами, которая, впрочем, находится в понятии пользы, именно этой чертою отличающимся от понятий удовольствия, наслаждения. Цель всех человеческих стремлений состоит в получении наслаждений. Но источники, из которых получаются нами наслаждения, бывают двух родов: к одному роду принадлежат мимолетные обстоятельства, не зависящие от нас или если и зависящие, то проходящие без всякого прочного результата; к другому роду относятся факты и состояния, находящиеся в нас самих прочным образом или вне нас, но постоянно при нас долгое время. День хорошей погоды в Петербурге-источник бесчисленных облегчений в жизни, бесчисленных приятных ощущений для жителей Петербурга; но этот день хорошей погоды – явление мимолетное, лишенное всякого основания и не оставляющее никакого прочного результата в жизни петербургского населения. Нельзя сказать, чтобы этот день составлял пользу, он составляет только удовольствие. Полезным явлением бывает хорошая погода в Петербурге только в тех немногих случаях и только для тех немногих людей, когда она довольно продолжительна и когда, благодаря этой продолжительности, успеет прочным образом поправиться здоровье нескольких больных. Но тот, кто переселяется из Петербурга в хороший климат, получает себе пользу в отношении здоровья, в отношении наслаждения природой, потому что этим переселением он приобретает себе прочный источник долговременных наслаждений. Если человек получил приглашение на хороший обед, он получает только удовольствие, а не пользу в этом приглашении (разумеется, и удовольствие только в том случае, когда он находит наслаждение в гастрономии). Но если этот человек, имеющий гастрономические наклонности, получает большую сумму денег, он получает пользу, то есть долговременную возможность пользоваться наслаждением хороших обедов. Итак, полезными вещами называются, так сказать, прочные принципы наслаждений. Если бы при употреблении слова «польза» всегда твердо помнилась эта коренная черта понятия, не было бы решительно никакой разницы между пользою и добром; но, во-первых, слово «польза» употребляется иногда легкомысленным, так сказать, образом о принципах удовольствия, правда, не совершенно мимолетных, но и не очень прочных, а во-вторых, можно эти прочные принципы наслаждений разделить по степени их прочности опять на два разряда: не очень прочные и очень прочные. Этот последний разряд собственно и обозначается названием добра. Добро – это как будто превосходная степень пользы, это как будто очень полезная польза. Доктор вое-, становил здоровье человека, страдавшего хроническою болезнью, – что он принес ему: добро или пользу? Одинаково удобно тут употребить оба слова, потому что он дал ему самый прочный принцип наслаждений. Наша мысль находится в настроении беспрестанно вспоминать о внешней природе, которая будто бы одна подлежит ведомству естественных наук, составляющих будто бы только одну часть наших знаний, а не обнимающих собою всей их совокупности. Кроме того, мы заметили, что эти статьи свидетельствуют о чрезвычайной сухости нашего сердца, о пошлости и низости нашей души, во всем ищущей только пользы, все оскверняющей отыскиванием материальных оснований, не понимающей ничего высокого, лишенной всякого поэтического чувства. Нам хочется замаскировать этот постыдный недостаток поэтичности в нашей душе. Мы ищем чего-нибудь поэтического для украшения нашей статьи; под влиянием мысли о важности естественных наук отправляемся искать поэзии в область материальной природы и находим в ней цветы. Украсим же одну из наших сухих страниц поэтическим сравнением. Цветы, эти прекрасные источники благоухания, эти столь быстро увядающие очарования нашего глаза, – это удовольствия, наслаждения; растение, производящее их, – это польза; на одном

растении много цветов, увядают одни, распускаются на место их другие; так полезною вещью называется то, из чего вырастает много цветов. Но есть однолетние цветущие растения; и есть также розовые деревья, олеандры, живущие очень много лет и каждый год снова дающие много цветов – вот так добро превосходит своею долговечностью другие источники наслаждений, которые называются просто полезными вещами, но не удостоиваются имени добра, как фиалки не удостоиваются имени деревьев: они – предметы того же разряда вещей, но все еще не так велики и долговечны.

Из того, что добром называются очень прочные источники долговременных, постоянных, очень многочисленных наслаждений, сама собою объясняется важность, приписываемая добру всеми рассудительными людьми, говорившими о человеческих делах. Если мы думаем, что «добро выше пользы», мы скажем только: «очень большая польза выше не очень большой пользы», – мы скажем только математическую истину, вроде того, что 100 больше 2, что на олеандре бывает больше цветов, чем на фиалке.

Читатель видит, что метод анализа нравственных понятий в духе естественных наук, отнимая у предмета всякую напыщенность, переводя его в область явлений очень простых, натуральных, дает нравственным понятиям основание самое непоколебимое. Если полезным называется то, что служит источником множества наслаждений, а добрым – просто то, что очень полезно, тут уже не остается ровно никаких сомнений относительно цели, которая предписывается человеку, – не какими-нибудь посторонними соображениями или внушениями, не какими-нибудь проблематическими предположениями, таинственными отношениями к чему-нибудь еще очень неверному, – нет, предписывается просто рассудком, здравым смыслом, потребностью наслаждения: эта цель – добро. Расчетливы только добрые поступки; рассудителен только тот, кто добр, и ровно настолько, насколько добр. Когда человек не добр, он просто нерасчетливый мот, тратящий тысячу рублей на покупку грошовой вещи, тратящий на получение малого наслаждения нравственные и материальные силы, которых достало бы ему на приобретение несравненно большего наслаждения.

Но в том же понятии о добре, как об очень прочной пользе, мы находим еще другую важную черту, помогающую нам открыть, в каких именно явлениях и поступках главнейшим образом состоит добро. Внешние предметы, как бы тесно ни были привязаны к человеку, все-таки слишком часто разлучаются с ним: то человек расстается с ними, то они изменяют человеку, Родина, родство, богатство, все может быть покинуто человеком или покинуть его; от одного никак не может он отделаться, пока остается жив, одно существо неразлучно с ним: это он сам. Если человек полезен другим людям по своему богатству, он может перестать быть полезен, лишившись богатства; но если он полезен людям по качествам своего собственного организма, по своим душевным качествам, как обыкновенно говорится, то он может разве только зарезать себя, но пока не зарежет, не может перестать делать пользу людям, – не делать ее – выше его сил, не в его власти. Он может сказать себе: буду зол, буду вредить людям; но исполнить этого он уже не может, как умный не может не быть умным, если б и не желал. Не только по постоянству и долговечности, но и по обширности результатов добро, приносимое качествами самого человека, гораздо значительнее добра, делаемого человеком, только по обладанию внешними предметами. Доброе или дурное употребление внешних предметов случайно; всякие материальные средства так же легко и часто бывают обращаемы на вред людям, как и на пользу им. Богатый человек, принося своим богатством выгоду некоторым людям в некоторых случаях, вредит другим или даже и тем же самым людям в других случаях. Например, богатый человек может дать хорошее воспитание своим детям, развить в них здоровье, ум, дать им множество знаний; это вещи полезные для них; но будут ли они сделаны или нет, это еще неизвестно, и часто этого не бывает, а, напротив, дети богача получают такое воспитание, что делаются от него людьми хилыми, болезненными, слабоумными, пустыми, жалкими. Дети богача вообще приобретают привычки и понятия, невыгодные для них самих. Если таково влияние богатства на людей, счастием которых наиболее дорожит богач, то, конечно, оно еще заметнее приносит вред другим людям, не столь близким сердцу богача . Но если возможно некоторое сомнение относительно того, равняется ли вредное влияние богатства на этих отдельных людей пользе, получаемой ими от него , то , что в действии богатства отдельных людей на целое общество вредные стороны гораздо сильнее полезных. Это с математическою достоверностью обнаруживается той частью нравственных знаний, которая раньше других стала разработываться по точной научной системе и в некоторых отделах своих разработана уже довольно хорошо наукою о законах общественного материального благосостояния или обыкновенно так называемою политическою экономию. Итак, действительным источником совершенно прочной пользы для людей от действий других людей остаются только те полезные качества, которые лежат в самом человеческом организме; потому собственно этим

качествам и усвоено название добрых, потому и слово «добрый» настоящим образом прилагается только к человеку. В его действиях основанием бывает чувство или сердце, а непосредственным источником их служит та сторона органической деятельности, которая называется волею; потому, говоря о добре, надобно специальным образом разобрать законы, по которым действуют сердце и воля. Но способы к исполнению чувств сердца даются воле представлениями ума, и потому надобно также обратить внимание на ту сторону мышления, которая относится к способам иметь влияние на судьбу других людей. Не обещая ничего наверное, мы скажем только, что нам хотелось бы изложить точные понятия нынешней науки об этих предметах. Очень может быть, что нам и удастся сделать это.

Но мы едва не забыли, что до сих пор остается не объяснено слово «антропологический» в заглавии наших статей; что это за вещь «антропологический принцип в нравственных науках»? Что за вещь этот принцип, читатель видел из характера самых статей: принцип этот состоит в том, что на человека надобно смотреть как на одно существо, имеющее только одну натуру, чтобы не разрезывать человеческую жизнь на разные половины, принадлежащие разным натурам, чтобы рассматривать каждую сторону деятельности человека как деятельность или всего его организма, от головы до ног включительно, или если она оказывается специальным отправлением какого-нибудь особенного органа в человеческом организме, то рассматривать этот орган в его натуральной связи со всем организмом. Кажется, это требование очень простое, а между тем только в последнее время стали понимать всю его важность и исполнять его мыслители, занимающиеся нравственными науками, да и то далеко не все, а только некоторые, очень немногие из них, между тем как большинство сословия ученых, всегда держащееся рутины, как большинство всякого сословия, продолжает работать по-прежнему, фантастическому способу ненатурального дробления человека на разные половины, происходящие из разных натур. Зато и все труды этого рутинного большинства оказываются теперь таким же хламом, каким оказались труды Эмина и Елагина по русской истории, Чулкова по собиранию народных песен, или в наше время труды гг. Погодина и Шевырева. Кое-что, похожее на правду, попадается и в них, — ведь г. Погодин совершенно справедливо говорит, что Ярослав был князь Киевский, а не Краковский, что Ольга приняла в Константинополе православие, а не лютеранство, что Алексей Петрович был сын Петра Великого; ведь г. Шевырев справедливо заметил, что русский народ употребляет скудную и неудобоваримую пищу, что между ямщиками попадаются красивые парни, и отыскал в пайсиевском сборнике довольно любопытное свидетельство о русском язычестве. Но все эти прекрасные и совершенно верные вещи засыпаны в книгах ученой четы покойного «Москвитянина» таким множеством вздорных мнений, что отделить в них правду от пустяков — труд столь же тяжелый, как отыскивать годные на выделку бумаги тряпки в тех местах, которые исследуются зоркими глазами и ловким крючком ветошников; потому люди обыкновенные поступят лучше всего, если совершенно откажутся от столь неприятного дела, предоставляя его привычным к нему труженикам; но труженики эти, специалисты, идущие в уровень с понятиями нынешней науки, находят, что в книгах, подобных сочинениям господ, нами названных, и их предшественников даже и ученого тряпья отыскивается слишком мало, так что чтение их составляет совершенную трату времени, ведущую только к засорению головы. Вот то же самое надобно сказать почти о всех прежних теориях нравственных наук. Пренебрежение к антропологическому принципу отнимает у них всякое достоинство; исключением служат творения очень немногих прежних мыслителей, следовавших антропологическому принципу, хотя еще и не употреблявших этого термина для характеристики своих воззрений на человека: таковы, например, Аристотель и Спиноза.

Что касается до самого состава слова «антропология», оно взято от слова anthropos — человек, — читатель, конечно, и без нас это знает. Антропология — это такая наука, которая о какой бы части жизненного человеческого процесса ни говорила, всегда помнит, что весь этот процесс и каждая часть его происходит в человеческом организме, что этот организм служит материалом, производящим рассматриваемые ею феномены, что качества феноменов обусловливаются свойствами материала, а законы, по которым возникают феномены, есть только особенные частные случаи действия законов природы. Естественные науки еще не дошли до того, чтобы подвести все эти законы под один общий закон, соединить все частные формулы в одну всеобъемлющую формулу. Что делать! Нам говорят, что и сама математика еще не успела довести некоторых своих частей До такого совершенства: мы слышали, что еще не отыскана общая формула интегрированья, как найдена общая формула умножения или возвышения в степень. От этого, конечно, затрудняются ученые исследования; мы слышали, будто бы математик очень быстро совершает все части своего дела, но как дойдет до интегрирования, ему приходится сидеть целые

недели и месяцы над делом, которое можно было бы исполнить в два часа, если бы уже найдена была общая формула интегрирования. Так еще больше в <естественных> науках. До сих пор найдены только частные законы для отдельных разрядов явлений: закон тяготения, закон химического сродства, закон разложения и смешения цветов, закон действий теплоты, электричества; под один закон мы еще не умеем их подвести точным образом, хотя существуют очень сильные основания думать, что все другие законы составляют несколько особенные видоизменения закона тяготения. От этого нашего неуменья подвести все частные законы под один общий закон чрезвычайно затрудняется и затягивается всякое исследование в естественных науках: исследователь идет ощупью, наугад, у него нет компаса, он принужден руководиться не столь верными способами к отыскиванию настоящего пути, теряет много времени в напрасных уклонениях по окольным дорогам на то, чтобы вернуться с них к своей исходной точке, когда видит, что они не ведут ни к чему, и чтобы снова отыскивать новый путь; еще больше теряется времени в том, чтобы убедить других в действительной непригодности путей, оказавшихся непригодными, в верности и удобстве пути, оказавшегося верным. Так в естественных науках, точно так же и в нравственных. Но как в естественных, так и в нравственных <науках> этими затруднениями только затягивается отыскивание истины и распространение убежденности в ней, когда она найдена; а когда найдена она, то все-таки очевидна ее достоверность, только приобретение этой достоверности стоило гораздо большего труда, чем будут стоить такие же открытия нашим потомкам при лучшем развитии наук, и как бы медленно ни распространялась между людьми убежденность в истинах от нынешней малой приготовленности людей любить истину, то есть ценить пользу ее и сознавать непременную вредность всякой лжи, истина все-таки распространяется между людьми, потому что, как ни думай они о ней, как ни бойся они ее, как ни люби они ложь, все-таки истина соответствует их надобностям, а ложь оказывается неудовлетворительной: что нужно для людей, то будет принято людьми, как бы ни ошибались они от принятия того, что налагается на них необходимостью вещей. Станут ли когда-нибудь хорошими хозяевами русские сельские хозяева, до сих пор бывшие плохими хозяевами? Разумеется, станут; эта уверенность основана не на каких-нибудь трансцендентальных гипотезах о качествах русского человека, не на высоком понятии о его национальных качествах, о его превосходстве над другими по уму или трудолюбию или ловкости, а просто на том, что настает надобность русским сельским хозяевам вести свои дела умнее и расчетливее прежнего. От надобности не уйдешь, не отвертишься. Так не уйдет человек и от истины, потому что по нынешнему положению человеческих дел оказывается с каждым годом все сильнейшая и неотступнейшая надобность в ней.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
http://chernyshevskynikolai.ru/ Приятного чтения!
http://buckshee.petimer.ru/ Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.
http://petimer.ru/ Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин
http://worksites.ru/ Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.
http://filosoff.org/ Философия, философы мира, философские течения. Биография
http://dostoevskiyfyodor.ru/
сайт http://petimer.com/ Приятного чтения!